

ISSN 0130-3600

საქართველოს
ლიტერატურის



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

9

1987

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ. С днем рождения! 3

ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ — 150

ВАХТАНГ ЖВАНИЯ. «...Ныне временно при-
был в С.-Петербург...» 5

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ЛАДО СУЛАБЕРИДЗЕ. Преображение. Стихи.
Перевод Сергея Борисова 11

РАМАЗ КОБИДЗЕ. Листья папоротника. Ро-
ман. Окончание. Перевод Д. Владими-
рова 15

ЭМЗАР КВИТАИШВИЛИ. Стихи. Перевод
В. Казарова 63

НИНО КУТАТЕЛАДЗЕ. Из циклов «Современ-
ные песнопения родные» и «К Абхазии».
Стихи. Перевод Натальи Дардыки-
ной 66

ЛАЛИ БРЕГВАДЗЕ. Возвращение. Рассказ.
Перевод Виктории Зининой 69

НАТАЛИЯ СОКОЛОВСКАЯ. Из цикла «Пись-
ма в больницу». Стихи 92

9

1987

ЛЕВАН ХАИНДРАВА. Очарованная даль. Гла-
вы из романа 95

СЕРГЕЙ ОКРОПИРИДЗЕ. Стихи. 150

РАЗДУМЬЯ ПИСАТЕЛЯ

АКАКИЙ БАКРАДЗЕ. Вера 152

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ДАРЕДЖАН БУАЧИДЗЕ. Песнь о дружбе . 166

ВЛАДИМИР ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Об одной из-
вестной параллели 172

О ТЕХ, КТО КОВАЛ ПОБЕДУ

ГЕОРГИЙ ГЕЛАДЗЕ. Последний бой «Сибирякова» 177

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ПАВЕЛ НЕРЛЕР. «Из Крыма пустился в Гру-
зию...» 197

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. Очерки 204

РЕЦЕНЗИИ

ИГОРЬ БОГОМОЛОВ. Важная теоретическая
база 214

ИСКУССТВО

ГАЛИНА КОВАЛЕНКО. Дерево жизни 216

ХРОНИКА 65



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ» исполнилось тридцать лет. Это — срок немалый, во всяком случае, для того, чтобы осмыслить и оценить роль, значение и место литературного журнала в культурной и общественно-политической жизни страны.

Окинем мысленным взором конец пятидесятых годов: к тому времени сокровищница грузинской советской литературы пополнилась многими произведениями мастеров старшего поколения. Тогда же смело заявляет о себе целая плеяда молодых одаренных литераторов — прозаиков, поэтов, критиков, сразу же привлечших к себе внимание. В 1957 г. выходит первый номер грузинского молодежного литературного журнала «Цискари», вокруг которого и группируется эта талантливая молодежь.

В том же 1957 основывается журнал «Литературная Грузия» — орган Союза писателей Грузии, само название которого говорит о главном его назначении: знакомить русского читателя с грузинской литературой, с ее наиболее интересными и значительными произведениями и дать представление о культурной жизни республики. Наряду с этим «Литературная Грузия» призвана была освещать творчество негрузинских писателей, живущих в республике. Более того, журнал становится и проводником интернационализма: на его страницах стали обычными публикации произведений авторов — представителей братских литератур Советского Союза, творчество которых так или иначе связано с Грузией.

Эти творческие контакты, внесенные самой жизнью в обиход журнальной действительности, приобрели постоянный и традиционный характер. На страницах журнала нередкими гостями стали также наши зарубежные друзья, работающие в различных областях литературы, искусства, науки и имеющие отношение к Грузии и ее культуре.

В первые же годы журнал сумел не только создать круг авторов и читателей, но и завоевать себе имя и место в потоке литературной периодики Союза. Коллектив редакции и редколлегия, члены которой принимали живейшее участие в повседневной деятельности журнала, всячески способствовали этому.

К сотрудничеству в журнале привлекаются лучшие силы гру-

зинской литературы. Естественно, для «Литературной Грузии» потребовалась более широкая и оперативная организация переводов. Переводчиками поэзии в журнале выступают как уже известные русские поэты, так и совсем еще молодые и неизвестные, в скором будущем — блестящие представители современной поэзии. Это сотрудничество стало традиционным для «Литературной Грузии».

С самого основания журнала в нем утвердилась традиция внимательного и доброго отношения к творческой молодежи. На его страницах состоялись дебюты многих начинающих авторов — переводчиков прозы, ныне известных литераторов, а также русских поэтов, выступающих и как переводчики, и как оригинальные авторы. Здесь впервые выходили «за рубеж» родной литературы грузинские поэты и прозаики.

Были — и есть — у журнала свои проблемы, свои трудности, свои достижения... Суметь выхватить из общего литературного потока наиболее характерное для данного периода и художественно совершенное произведение, своевременно организовать его качественный перевод и своевременно же опубликовать — задача не из легких, и, конечно, не всегда она могла быть успешно решена. Тем не менее, за истекшие три десятилетия журналом проделана огромная работа по популяризации грузинской литературы, культуры, по развитию межнациональных творческих связей и, что очень важно, по развитию переводческого дела и редактированию переводов в республике. Мы не будем перечислять здесь авторов — прозаиков, поэтов, переводчиков прозы и поэзии, публицистов, критиков, историков и многих других деятелей различных сфер культуры, науки и искусства, которые внесли свой вклад в реализацию основных задач журнала. Для того, чтобы убедиться в весомости их вклада достаточно полистать номера журнала — рядовые и праздничные, и те, что выходили под рубрикой «Свидетельствует вещий знак...».

«Литературная Грузия», которая всегда верна определению, вынесенному в ее гриф: «литературно-художественный и общественно-политический журнал», своими средствами выражения участвует во всех начинаниях нашей Партии и Правительства. Сейчас, в пору перестройки, журнал активно включился в общее движение, ищет соответствующие темы и формы их подачи.

Коллектив редакции и редколлегии прилагают все усилия к тому, чтобы читатель всегда с нетерпением ждал выхода «Литературной Грузии» и чтобы встреча эта была для него неизменно интересной и полезной.

Ираклий АБАШИДЗЕ

Вахтанг ЖВАНИЯ

„...НЫНЕ ВРЕМЕННО ПРИБЫЛ В С.-ПЕТЕРБУРГ...“

В ВОСЬМИДЕСЯТЫХ годах прошлого века усилилось внимание полицейских властей к личности Ильи Чавчавадзе, что находилось в непосредственной связи с разгромом в России террористической организации «Народная воля». Нашумевший процесс 14¹ Петербургского военно-окружного суда в сентябре 1884 года, привлечение к дознанию нескольких сот членов этой организации и в том числе более двухсот офицеров, были итогом провокационной деятельности предателя Сергея Дегаева. В результате Вера Фигнер и ряд находившихся на скамье подсудимых, в основном офицеры, были приговорены к строжайшей мере наказания — расстрелу.

Самодержавная власть, остерегаясь волнений общественности и активного революционного противостояния, с самого же начала разгрома организации держала в тайне развивавшиеся события. Поэтому официальное судебное преследование было возбуждено в отношении весьма ограниченного числа лиц и после приговора последовало «высочайшее помилова-

¹ По делу «Народной воли» состоялись и другие судебные процессы. Организация была разветвлена по всей империи, и судебные процессы проводились там, где действовала определенная группа — **В. Ж.**

ние». По указу смертные казни были заменены двадцатью годами каторжных работ. Что же касается остальных подозреваемых, все они без исключения подверглись жестокому судебному и административным преследованиям: ссылкам и высылкам в отдаленные места России, лишениям воинских и почетных званий, наград, других гражданских прав. За подозреваемыми были установлены гласный и негласный надзоры полиции, их не допускали к должностям в государственных учреждениях, чинили препятствия в получении чинов и т. д.

В числе репрессированных в связи с «дегаевщиной» находилось и большое число офицеров грузинской национальности — прапорщик Давид Элиава, поручик Арчак Цицианов, капитан Леван Вачнадзе и другие. В «черные списки» попали также и лица, организационно не связанные с «Народной волей» и практически не принимавшие участия в ее деятельности. Для преследования достаточным основанием стало их сочувствие народовольцам или дружественные отношения с ними.

В числе таких лиц оказался Илья Чавчавадзе.

Поводом для установления многолетнего негласного полицейского надзора за ним послужили его кратковременные встречи в Петербурге с народовольцами-грузинами. Как известно, И. Чавчавадзе приходилось бывать в Петербурге по делам возглавляемого им грузинского земельного банка. Встречи с народовольцами в основном происходили в грузинском землячестве или в семьях за чашкой чая.

Известно, что негласный надзор за И. Чавчавадзе был установлен в 1884 году, и полицейские чины долгое время внимательно следили за каждым его шагом. Ряд исследователей полагал, что И. Чавчавадзе находился под надзором до последних дней своей жизни², но можно было только строить предположе-

² Такие предположения высказаны П. Ингорквва, П. Ратиани, А. Иоселиани и многими другими учеными. То же утверждает и «Путеводитель по стационарной экспозиции, отражающей жизнь и деятельность Ильи Чавчавадзе» (Путеводитель издан домом-музеем И. Чавчавадзе в Тбилиси в 1967 году).

ния на этот счет, так как не были известны документы, подтверждающие это положение.

Исследователи ссылались на один источник секретное отношение начальника тбилисского жан-дармского управления от 13 июля 1884 года тбилисскому губернатору. «По распоряжению департамента полиции,—говорится в документе,—учрежден негласный надзор полиции над служащими в Тифлисском дворянском поземельном банке — кн. Ильей Григорьевичем Чавчавадзе и сыном коллегийского секретаря Игнатием Онисимовичем Иоселиани, как за лицами сомнительной благонадежности.

О чем сообщая, имею честь покорнейше просить распоряжения Вашего превосходительства об учреждении вышесказанного надзора за поименованными лицами и о всякой перемене места жительства их не оставить без уведомления...»³.

Надзор был установлен без указания конкретного срока, возможно, на всю жизнь, но спустя 16 лет он все же был снят. «Кн. Илья Григорьевич Чавчавадзе, — говорится в секретном донесении начальника охраны Тифлисской губернии полковника Березина, — согласно предписанию департамента полиции от 25 апреля 1884 года, за № 1698, состоял в г. Тифлисе под негласным надзором полиции по 18-е апреля 1900 года и за время его проживания в Тифлисе компрометирующих его политическую благонадежность сведений в управление не поступало. Где и за что он был привлечен, в управлении сведений не имеется»⁴.

В архивах хранится ряд донесений охраны и управления полиции о передвижениях И. Чавчавадзе, его служебной, общественной деятельности, но компрометирующие в политическом отношении данные отсутствуют. Как видно из документов, особо активно надзор проводился в 1884—1885 и 1893—1899 годах.

Внимание к И. Чавчавадзе особенно обостряется после волнений студентов Тифлисской духовной семинарии в декабре 1893 года. «...В донесении своем от 7 марта сего года (1894 года — В. Ж.) за № 224 я упо-

³ ЦГИА Грузии, фонд 17, дело 140, л. д. 1.

⁴ ЦГИА, фонд 153, дело 172.

минал, — сообщает начальнику департамента полиции начальник Тифлисского жандармского управления генерал-майор Яновский, — что в семинарских волнениях немалую роль играли учителя Тифлисской дворянской (исключительно грузинской) школы. Ныне добытые мною агентурным путем заслуживающие внимания сведения подтверждают, что влияние названной школы не ограничивается одной семинарией, но что руководители школы не чужды в деле общего национального движения между грузинами. Главным же... руководителем пробуждающихся грузинофильских мечтаний безошибочно можно считать состоящего под негласным надзором полиции князя Илью Чавчавадзе, управляющего Тифлиским дворянским земельным банком (на средства банка содержится вышеназванная школа) и редактора грузинской газеты «Иверия».

Князь Чавчавадзе — человек выдающегося ума и пользуется большим авторитетом между грузинами вообще, а между свободомыслящими в особенности.

Ходят слухи, что у него бывают временами собрания интеллигентных грузин, на которых обсуждаются разные общественные и социальные вопросы Грузии...»⁵.

Первая публикация секретных документов, хранящихся в историческом архиве Грузии, их краткий анализ были осуществлены бывшим заведующим отделом этого архива А. Иовидзе.

Как отмечалось, эта документация была неполной, она не давала исчерпывающего ответа на все возникшие вопросы. Долгое время ученые вели поиск полной документации в архивах Ленинграда и Москвы, особенно в фондах департамента полиции, но тщетно. Дело в том, что материалы об И. Чавчавадзе хранились в делах организации «Народная воля». Об этом стало известно лишь в 1974 году из статьи профессора Саратовского университета Н. Троицкого, исследующего деятельность «Народной воли».

Внимание Н. Троицкого привлекло агентурное дело, созданное в полицейском департаменте и приобретенное к секретной документации организации «На-

⁵ ЦГАОР, фонд. 365, отд. III, д. 1168.

родная воля». Оно содержит всю переписку и донесения, касающиеся лично И. Чавчавадзе.

Но Троицкий имел совершенно другие задачи, поэтому ограничился материалом информационного характера. Однако опубликование этого материала дало возможность дальнейшего исследования данного вопроса, которым занялся профессор П. Ломашвили. Он полностью опубликовал агентурное дело департамента полиции, проанализировал все документы и своими научными выводами в какой-то степени пролил свет на причины и обстоятельства, приведшие к негласному полицейскому надзору за И. Чавчавадзе.

П. Ломашвили предполагает, что И. Чавчавадзе попал в поле зрения охранки и вообще полицейских властей еще в 1881 году, т. е. после того, как Дегаев установил в Петербурге связи с грузинским студенчеством, в частности с Георгием Андроникашвили, бывшим одним из руководителей студенческой организации «Народная воля», и поручиком Элиава, руководителем Ростовской организации. В 1882 году по поручению В. Фигнер С. Дегаев приехал в Тифлис и под псевдонимом «Петров» возглавил офицерские и интеллигентские кружки народовольцев, которые были созданы А. Корба, Ст. Чрелашвили, А. Нанейшвили, А. Элиозишвили и другими деятелями, хорошо знавшими И. Чавчавадзе. П. Ломашвили считает, что С. Дегаев мог узнать от этих людей о личности И. Чавчавадзе и «...посредством этих деятелей Грузии справедливо признал И. Чавчавадзе знаменосцем народно-освободительного движения Грузии и представил его жандармерии именно таким деятелем».

Это утверждение спорно, т. к. неопровержимых доказательств нет. В документах департамента полиции фамилия И. Чавчавадзе появляется позднее. «Арестованный 18-го декабря 1882 года в г. Одессе отставной артиллерии штабс-капитан Сергей Дегаев, — говорится в одной из справок департамента полиции, — в писанных им собственноручно показаниях и словесных объяснениях... указал на ряд лиц, входящих в состав преступного сообщества, а также известных ему как способствующих и сочувствующих деятельности упомянутого сообщества и склонных по своим

убеждениям стать в известную минуту в ряды революционеров...»

Среди названных Дегаевым лиц под № 10 значится Илья Чавчавадзе. 17 человек из числа указанных Дегаевым, в основном военнослужащие, подлежали аресту и привлечению к дознанию. 16 же человек, в числе которых значится и И. Чавчавадзе, должны были быть подвергнуты «негласному надзору полиции, высланы из местностей, объявленных в положении усиленной охраны или иным мерам стеснения».

Обвинения в отношении названных Дегаевым лиц более конкретно сформулированы в т. н. «ведомости», где читаем: «...10. Чавчавадзе Илья Григорьев (ич) — князь, управляющий Тифлиским дворянским поземельным банком. Постоянно проживает в Тифлисе, ныне временно прибыл в С.-Петербург и остановился в доме № 40, по Моховой улице в кв. 4 присяжного поверенного князя Мачабели.

По показанию Дегаева, И. Чавчавадзе и компания журналов «Иверия» и «Имеди» составляют группу либералов, желающих автономии Грузии в составе империи и мечтающих о грузинском парламенте...».

Этот документ составлен в октябре 1883 года и, как указывалось, практически вступил в действие (т. е. за Ильей Чавчавадзе был установлен негласный надзор полиции) 25 апреля 1884 года. Причиной этому послужило ничем не обоснованное подозрение о его причастности к разгромленной царским самодержавием организации «Народная воля». Однако, убедившись в необоснованности своих подозрений, охранка сняла надзор 18-го апреля 1900 года.



ПРЕОБРАЖЕНИЕ

1


На руке твоей горбится сокол седой,
водит клювом и крыльями бьет торопливо.
Плещет поле мое голубой лебедой,
и сквозит виноградник янтарным отливом.
Кликни птицу! Пускай с поднебесья она
упадет мне на грудь, затаившую муку,
и, пернатую волю потешив сполна,
вновь отыщет твою безмятежную руку.
Пусть ударится оземь падучей звездой,
ветром страсти моей смущена и влекома...
На руке твоей горбится сокол седой,
неулыбчивый князь моего окоема.

2

Я шербетом твоим напоен допьяна
и без меры твоим очарован шербетом.
Я бросаю на ниву твою семена
небывалых цветов, сочиненных поэтом.
Я лелею твой сад, пробудясь ото сна,
и к твоим лепесткам приникаю с рассветом.
Я шербетом твоим напоен допьяна
и без меры твоим очарован шербетом.
Отчего же колдует твоя тишина
моим кислым вином и скончавшимся летом?
Я бросаю на ниву твою семена
небывалых цветов, сочиненных поэтом.

3

Кроме тяжких цепей, я добра не нажил.
Ты мои кандалы ненароком разбила.



Бренный мир отделил мое мясо от жил,
и волна твоя немочь мою ознобила.
Я бессилён в любви, заступившей мой путь,
и во мне её бездна кричит ежечасно.
И твою беспощадную смуглую грудь
я терновым крестом отягчаю напрасно.
Алчный ветер до бледных корней обнажил
мое дикое поле, заросшее дроком...
Кроме тяжких цепей, я добра не нашёл.
Ты разбила мои кандалы ненароком.

4

Мне досталось в удел чудо кроткого дня:
твое тихое солнце и робкие тени.
В этом зябком пространстве насыпь для меня
холм Голгофы печальной, чтоб пасть на колени.
И на трепетных крыльях улыбки твоей
вознеси мою скорбь в заревые владенья.
Райской глиной любви мою рану залей,
нанесенную черным копьём отчужденья.
Во младенчестве хрупком живые цветы
мои пальцы шипами стыда искололи.
И на зыбкие свечи твоей красоты
я лечу заблудившейся бабочкой боли.

5

Я словарь человеческий оставить готов,
чтоб услышать родник, заскукавший в кувшине,
и на звонком наречии птиц и цветов
с тайной вестью к тебе обратиться отныне.
Серый свод судьбы уязвил мою речь,
мутным ядом невзгод отравил мое слово.
Оттого и реку тебе сердцем, сирень,
языком травостоя и ливня земного.
Я пою твоё тело, обиды поправ.
Я несу тебе смех родниковый в кувшине.
И на звонком наречии листьев и трав
я шепчу тебе имя любви и святыни.

6

Твое чувство земным полыхает огнём
и по жилам струится горячим настоем.



944935340
202201010330

Причасти меня в тесном объятии своем
сердцу жаркому, точно тонзэ золотое.
Моя лава остыла, потухла гора...
Обожги меня пламенем жизни и воли,
напой меня радостью, ибо вчера
я отравлен нечаянным ядом юдоли.
Лучезарной лампы живительный свет
мне по капле отдай — поусердствуй поэту...
Ну а после, черт с ним, пусть хоть тысячу лет
ветер полночи носит мой пепел по свету.

7

В голубом окоме, летящем обочь,
затаилась страстей перебранка сорочья.
И звездой перемирья вспыхнула ночь,
вороньем посеченная в черные клочья.
В каламанах, плетенных из мглы голубой,
ты бесшумно крадешься светлицей печали.
Дверь запри за собой... дверь запри за собой...
Мокрый ветер апреля, как дух, изначален.
Ветку персика в первом и дивном цвету
на мое изголовье осыпь наудачу.
В голубом окоме твою высоту
по цветущим ветвям я найду и оплачу.

8

Я покоюсь на жалостном ложе креста
в ожидании муки стыда и блаженства.
Лепестки поцелуев роняют уста
на покорного данника прихоти женской.
Твое смуглое тело трепещет в кругу
нетерпенья, темной исполнено власти.
И уже ни чем я сдержать не могу
аргамаков твоей взбунтовавшейся страсти.
И откуда мне знать, что случится потом...
И откуда мне ведать, что ждет на взлете...
Утопи мою душу и путь со крестом
в первобытном расплаве ликующей плоти!

9

С крыльев птицы слетевший, гостивший в раю,
ангел позднего неба, явись в одночасье!

Я из бархата бабочки церковь твою
сотворю и замкну в нее горькое счастье.
Помолись за меня! И у близкой зимы
испроси милосердия, упав на колени.
Обрати паутину полуночной тьмы
в лучезарный цветок, убивающий тени.
Чуткой неги твоей, полыхнувшей светло,
я коснулся, пронизанный дрожью живою...
О, явьсь, незабвенный, как птичье крыло!
Я из бархата бабочки храм тебе строю.

10

О, высочество радуги в яблочный спас!
О, святейшество мира, враждебного блуду!
Под завесой тумана твой луч не угас.
Хочешь, розовых утр твоих пастырем буду?
Светлость страсти свободной, как танец огня,
и величество знойного древа желанья!
Твои юные корни проникли в меня
и мою заскорузлость спасли от закланья.
Подари мне блаженство в трепещущий час.
Прибщи к твоему благодатному чуду.
О, высочество радуги в яблочный спас!
О, святейшество мира, враждебного блуду!

Перевод Сергея БОРИСОВА



ЛИСТЬЯ ПАПОРОТНИКА

Роман

— Если хочешь знать, понял! Ну и что же? Не пора исправить дело?

— Опять кто в лес, а кто по дрова!

— Надо же, чтоб у Небиеридзе фонарь именно сейчас погас.

— Каждый говорит о том, что наболело!

— Какой умник!

— Да хватит!

— Товарищи, товарищи! — Кахабер снова посту- чал карандашом по столу. — Обо всем этом погово- рим после. Время идет, а мы ни к какому решению не пришли.

Словно сумрачные тучи, нависла в нарядной ти- шина. Потом один за другим, не вставая со своих мест, шахтеры спокойно проговорили:

— Добровольно на этот участок никто не перей- дет, батано Кахабер!

— Мне и здесь хорошо!

— Не думаю, чтоб кто-нибудь захотел...

— Почему?

— А потому!

— Ничего себе ответ!

— Ответ что надо!

— Может быть, и мне позволят сказать несколько слов? — встал Антимоз.

Накануне Антимоз повидал знакомого адвоката,

Окончание. Начало см. в №№ 7, 8.

который обычно по его просьбе и писал ему заявления, и судью Менагарашвили. Адвокат Ионатам Шиндагоридзе — известный на весь город кутила, тамада, прекрасно поющий и играющий на гитаре, встретил Антимоза с распростертыми объятиями.

Когда Антимоз поведал ему о событиях на участке, Ионатам задумался.

— Хм... Стало быть, тебя выдвинули... И зарплату прибавили? Смотри-ка, ну и народ!.. Таких проныр в жизни своей не встречал. Надо же, додумались... Ну что теперь сделаешь с ними?

— Ионатам, вся надежда на тебя.

— Хм... Зарплату, говоришь, прибавили?

— Тридцать рублей!

— И кто у них такой умник!

— Не знаю... Все они — и директор шахты, и главный инженер, и даже управляющий трестом, — против меня. Житья от них не стало.

— Да, порядочному человеку всегда трудно приходится! Возьмем хотя бы меня. Неужто я должен гнить в районе? Но нет! Они смотрят иначе! Ты умен? Опытен? Справедлив? Так вот и меси в районе грязь, а неучей и прощелыг мы переведем в большие города, чтоб они жили себе вольготно среди мрамора и асфальта. Это так, и ничего не поделаешь! А я к тому же играю на гитаре и пою им на зависть. Представляешь, как меня ненавидят!.. Слушай, Антимоз, а что если тебе согласиться?

— Ты так думаешь?

— Что ни говори, а будешь называться начальником, больше уважения и почета, зарплата больше. Работа тебе знакомая, опыт есть...

— Нет-нет, я и слышать не хочу.

— Почему?

— Не хочу, и все!

— Воля твоя. Что здесь дело нечисто — не может быть и двух мнений, я ведь знаю, как они относятся к тебе. Скажи-ка, а ты не писал заявления, не просил повышения?

— Что ты!..

— Да-а... Ну что же, опротестовать ты можешь, у нас, слава богу, ни повышать, ни понижать в должно-

сти без согласия того, кого повышают или понижают, пока что нельзя. Давай опротестуем...

— Ты думаешь, мы выиграем? — Антимоз почуствовал, что Ионатам колеблется.

— Может быть...

— Когда напишем заявление?

— Хоть сейчас.

— Нет, подождем до завтра. Я все-таки повидаю кое-кого и, если решу опротестовать, завтра в это самое время приду к тебе.

— Воля твоя.

До сих пор адвокат Ионатам всегда охотно «сочинял» для Антимоза заявления, ссылаясь на необходимые параграфы и кодексы, разумеется, за определенное вознаграждение. В этот раз Ионатам сомневался в успехе затеянного Антимозом дела, хотя знал, что свой «гонорар» он получит в любом случае. Но Антимоз не хотел зря выкладывать деньги. Вот он и решил порасспросить знакомых людей и только в том случае обратиться к адвокату, если дело выигрышное.

Выйдя от Шиндагоридзе, он направился к судье Симону Менагарашвили.

— Батоно Антимоз, рад видеть вас! — улыбаясь, вышел ему навстречу Симон.

— Я тоже рад, хотя и пришел к вам, батоно Симон, не с очень-то приятными вестями.

— Что случилось?

— Не дают мне покоя на шахте, батоно Симон, не дают. Доведут меня до того, что я повешусь, вот увидите.

— Ну что вы, я уверен, вам незачем отчаиваться.

— Незачем, говорите? А вы поглядите, что они придумали на сей раз!

— Что же, говорите...

— Представляют, меня «будто бы повесили» в должности!

— Что-то не понимаю.

— Вот, читайте! — Антимоз протянул Симону копию приказа.

Симон внимательно несколько раз прочитал, потом вернул бумажку и, пожимая плечами, проговорил: — Это не будто бы, это в самом деле повесили!

— А если я этого не хочу?



— Чего?

— Повышения.

— С чего бы?.. И зарплату прибавляют, и должность почетную предлагают, и премии будут... А вы всего этого не хотите?

— Допустим, хочу... Но ведь сам я заявления не писал... Разве это не нарушение закона?

— Эх, дорогой мой Антимоз! То, что вы говорите — это чистойшей воды формализм. Скорее всего начальство убедилось, что вы человек опытный, дело знаете, — вот и решили выдвинуть. Надо ли тут думать о заявлении? Иисус Христос тоже не писал заявления—распинайте меня, но его распяли. С тех пор все человечество на него молится.

— Смеетесь, батона Симон?

— Ну что вы, дорогой Антимоз, как можно? Но должен сказать, что я уже не один год судья, и такое заявление ко мне еще не поступало — спасайте, меня выдвигают, прибавляют зарплату. Я, конечно, не могу запретить вам написать такое заявление, но... говоря откровенно, обещать ничего не могу.

— Не можете?

— Нет.

— А если, скажем, я не выдержу, все мы люди, все под богом ходим, если вдруг на моем участке случится беда?..

— О, тогда уже вам несдобровать...

— Что же мне делать?

— Работать. Не думать о беде и несчастиях, а больше думать о деле.

— Выходит, все это по закону?..

— По закону, дорогой мой Антимоз, по закону.

Антимоз ушел от Симона удрученный. Всю ночь он не сомкнул глаз, обдумывал, как подступиться к Кахаберу и Гедеону, чтоб убедить их отказаться от принятого решения.

Но теперь в нарядной сама обстановка подсказала ему, что делать. Он встал, кашлянул в кулак, огляделся.

— Товарищи! — произнес он спокойно. — Наше начальство общими усилиями делает сейчас крайне необходимое дело. Каждому из вас хорошо известно, как много зависит от горноподготовительных работ,

как важно выполнять их своевременно и качественно, поскольку вне подготовительных работ невозможно выполнить и план непосредственной добычи угля. Эту вбучную истину все мы прекрасно знаем.

Товарищи Кахабер и Гедеон оказали мне высочайшее доверие — назначили начальником нового, шестого горноподготовительного участка. Я хочу уверить всех в том, что не пожалею сил и постараюсь оправдать оказанное мне доверие. Буду работать день и ночь, как говорится, не покладая рук... Но в то же время я попрошу укомплектовать этот новый участок опытными, знающими свое дело шахтерами. Я просто обязую вас, другого разговора у меня не будет. Мы, шахтеры, всегда говорим правду в лицо. Ни один участок, будь то подготовительный или же эксплуатационный, не будет работать как ему положено, если там не будет крепкого, опытного шахтерского ядра, то есть, людей, на которых мы можем смело положиться, которые оправдают наше доверие. Начальник — один, у него одна голова, и какое бы у него ни было железное здоровье, он не сможет работать все двадцать четыре часа в сутки. Тем более я человек пожилой, у меня, как и у всех в моем возрасте, предостаточно всяких болячек.

Разумеется, новый участок — небольшой, у нас будет разве что два забоя, к тому же не длинной выработки, поэтому участок должен быть укомплектован не более чем восемью рабочими. Дайте, пожалуйста, и молодых. Мы должны воспитывать кадры, и мы будем работать с молодыми, передавать им опыт. Но в то же время мне необходимо иметь на участке двух-трех опытных шахтеров. Согласитесь, что без этого трудно будет перевести новый участок на передовые рельсы. Молодежь не воспитаешь только словами, ей нужен живой пример. Вместе с тем надо учитывать и то, что шахтеры должны перейти на новый участок без нажима со стороны, по доброй воле. Мало пользы от людей, которых заставляют делать то, чего они не хотят. Насильно можно заставить человека съесть шашлык, но не спуститься в шахту, взять в руки кувалду или пневматический молоток. Лишь только добровольцы, только энтузиасты могут работать на новом участке, и об этом нам не следует забывать! Вот что я хотел сказать.

Шахтеры молча переглядывались, каждому из них была понятна хитрость, к которой прибегнул Чахунашвили. Говоря откровенно, он был прав: при организации нового участка всегда учитывают то обстоятельство, что необходимы люди опытные, авторитетные, хорошие специалисты. Так было всегда. Но все понимали, что в данном случае Чахунашвили волнует больше собственная судьба, нежели судьба нового участка, он знает, что ни один из шахтеров не согласится добровольно перейти к нему, и тогда лопнет затея Кахабера и Гедеона, и он останется на своем месте.

Не было среди шахтеров ни одного, кто бы сочувствовал Антимозу, но сделать первый шаг никто не решался. Все с нетерпением ожидали, как же выйдут из положения Кахабер и Гедеон.

Молчание прервал Гедеон.

— Мы сейчас выслушали уважаемого всеми нами Антимоза Чахунашвили. Все, что он говорил, заслуживает внимания, все это истина: каждый новый участок в самом деле нуждается в опытных шахтерах, в каждом новом деле действительно нужны добровольцы и энтузиасты. И мы ищем таких людей! Но если таких не окажется, допустим, в ближайшие дни?.. Не откладывать же дело на будущее?! Вы слышали, что участок несложный, всего один-два забоя, поэтому, на мой взгляд, мы можем смело довериться опыту и знаниям самого нового начальника. Кстати, батоно Антимоз, вы сколько лет проработали заместителем?

— Какое это имеет значение?

— И все же?

— Семь или восемь...

— Это немало. На протяжении этих лет вы приобрели значительный опыт, и мы можем смело доверить вам молодых шахтеров. Я лично буду отвечать за безопасность работы на этом участке. Понимаю, что ни один начальник участка не захочет отдавать своего опытного работника. Но, повторяю, поскольку новый участок значительно проще других, его можно доверить молодым шахтерам. В конце концов, должны же они расти, проявить себя. Вот пусть и проявляют! Сардион Эрастович, к примеру, доверил нам с Гедеоном всю шахту. Как вы думаете, нам было легко? Но мы — шахтеры, а это значит, что мы не должны бояться рис-

ка, не должны прятаться от ответственности. А на нашем новом участке, батоно Антимоз, лично я не вижу никаких сложностей.

— Извините, но я не могу согласиться, — опустив веки, покачал головой Антимоз. — Батоно Гедеон, я еще раз извиняюсь, но с вашими словами. я даже не знаю, как сказать... в общем, я не разделяю вашего мнения. Вы предлагаете обучать молодых... Да, мы должны помогать им расти... Но как, когда и кто именно должен заниматься этим?! Я не могу круглые сутки пропадать на шахте, мне просто необходимы люди, которые могут заменить меня. Я думаю, это яснее ясного. Кроме того...

— Я даю тебе право перевести на свой участок кого ты хочешь, Антимоз! — прервал его Кахабер. — Поговори с людьми, убеди их!..

— Ну уж нет! Инициаторы создания нового участка — вы, вот вы и ищите людей.

— Ты не людей просишь, а асов каких-то...

— С чего вы взяли? Я требую, чтоб на участке работали опытные, знающие свое дело люди!

— Вот ты и выбери людей! Ведь ты начальник!

— И что же?

— Я повторяю, ты можешь перевести к себе любого, кого захочешь!

— А если никто не хочет переходить?

— А что скажет товарищ Арджеванидзе? — вмешался в диалог Кахабера и Антимоза Гедеон. Он понял, что диалог этот может завести их далеко.

Теймураз пожал плечами.

— Как вам сказать... Есть на моем участке шахтеры, которых я ни за что не отпущу... (Ни за что, — твердо повторил он. — Но есть и такие, кому я бы позволил, но... опять-таки только потому, что этого требует дело.

— Можете назвать их?

Теймураз не ответил, лишь снова пожал плечами. И тут из дальнего угла послышался глухой бас:

— Наверное, в первую очередь, это я, Ираклий Шубитидзе, верно?

Все оглянулись. Ираклий широко улыбался, растирая большим и указательным пальцами сигарету.

Ираклий был ближайшим другом Джибраила Хел-

туплишвили, всегда во всех делах поддерживал его. Когда сняли с должности Джибраила, Ираклий пережил это как личное оскорбление. Поэтому-то он долгое время просто игнорировал Теймураза. При встречах с ним коротко отвечал на его вопросы и поспешно удалялся, хмурия лоб. Постепенно же, приглядевшись к молодому инженеру, он изменил свое мнение о нем, и у них установились ровные взаимоотношения.

Но все изменилось с того проклятого собрания, когда Ираклия точно бес попутал, и он стал учить Теймураза уму-разуму. Тогда возмущенные шахтеры чуть было не стащили его с трибуны.

На другой день Ираклий сказал Теймуразу:

— Вижу, ты обижен на меня, Теймураз?

— Батоно Ираклий, я считаюсь с вами, с вашим мнением. И вы это знаете. Но я не вмешиваюсь в вашу личную жизнь и прошу не вмешиваться в мою.

— Я...

— Всего доброго!

С тех пор они не разговаривали. Вот почему Ираклий решил, что ему сейчас лучше перейти на новый участок.

Подойдя к столу, за которым сидел Кахабер, Ираклий улыбнулся ему и повторил:

— Я готов перейти на новый участок.

Все с удивлением уставились на него, понимая, что, сложись обстоятельства иначе, Шубитидзе ни за что не перешел бы к Антимозу.

— Вы... вы это твердо решили? — спросил Кахабер.

— Да.

— А что скажет начальник участка?

— Шубитидзе один из лучших шахтеров, — тихо произнес Теймураз. — Ни один начальник не захотел бы расстаться с таким. И я не хочу, потому что всегда спокоен за дело, которое ему поручено. Но, как видите, он сам уже решил перейти, а ему лучше знать, где работать.

Шубитидзе, все еще улыбаясь, не сводил глаз с Кахабера и Гедеона.

И снова заговорил Антимоз.

— Наверное, надо спросить и мое мнение? Не понимаю, какая необходимость создавать новый участок за

счет старого, за счет его опытных рабочих. Это несправедливо. Я думаю, надо... Одним словом, надо сделать так, чтоб и волки были сыты, и овцы целы.

— Так, дядюшка Антимоз, не бывает, — засмеялся кто-то.

— Я свое сказал, а вы как знаете... — Антимоз махнул рукой и сел.

— О старом участке вы, батоно Антимоз, не беспокойтесь, — Теймураз произнес эти слова, твердо глядя на Антимоза, — старому участку ничего не грозит.

Все поняли, что Теймураза задело заявление Ираклия Шубитидзе.

— Ну что ж, тогда мы, пожалуй, закончим... Итак, батоно Ираклий, вы, значит, переходите на участок Антимоза Чахунашвили...

— Перехожу, перехожу. Я человек слова, сказал, значит, сделано!

— Ну что, Гедеон?

— Как тебе сказать...

— Ты знаешь, и мне что-то не по себе.

— Может быть, пообедаем вместе?

— Я не прочь.

— Куда пойдем?

— Хорошо было бы в «Зеленые свечи», но...

— Что же тебе мешает?

— Завидую тебе, ты можешь не считать денег, а я вот, прежде чем зайти в ресторан, как следует подумаю...

— Ничего, скоро и моя песенка будет спета.

— Ты серьезно?

— Рано или поздно такое время настанет.

— А-а-а, а я-то подумал, что уже какая-нибудь красавица запеленговала тебя.

— Я пока что не нашел такой красавицы.

— Чего ждешь?

— Я и сам не знаю... Ну что, зайдем?

— Зайдем.

— Все думаю, какая это муха укусила Ираклия Шубитидзе?

Кахабер и Гедеон сидели уже за столом.

— Думаю, после того собрания у них не все ладилось.

— По-твоему, у Чахунашвили он будет работать долго? Скорее всего уйдет и оттуда.

— Не думаю.

— А что ты скажешь об Арджеванидзе?

— Хороший парень.

— Да, ты прав... А знаешь, мне иногда жаль его...

— Не надо его жалеть. Он парень что надо!

* * *

На второй день, едва Кахабер переступил порог своего кабинета, раздался телефонный звонок. Звонил Сардион.

— Где это вы гуляете? Вчера ни один, ни другой телефон не отвечал.

— Мы ужинали вместе.

— Позвонили бы мне, я бы с удовольствием посидел с вами... Ну как собрание?

— Чахунашвили в конце концов согласился, другого выхода у него не было. Перешел к нему только Шубитидзе.

— Ираклий? Ну и ну! Не ожидал... Смотри-ка, как прошлое собрание отозвалось-то. Сам захотел?

— Сам.

— Это, с одной стороны, хорошо, будет надежный человек на участке Чахунашвили, но с другой — если такие, как Шубитидзе, перейдут, участок Арджеванидзе осиротеет.

— Не перейдут. Все отлично знают, что с Чахунашвили не сработаться.

— А что Арджеванидзе?

— Держался достойно, сказал, что не хотел бы расставаться с таким шахтером, как Шубитидзе, но каждый человек волен решать свою судьбу сам...

— А как Гедеон?

— Работает, как видите...

— Несдобровать ему, если втянет нас в беду. Ведь это его идея повисить Чахунашвили, верно?

— Его.

— Да... придумали себе заботу...

— Но другого выхода не было.

— Кого еще переводите?

— Вероятно, Шубитидзе уговорит своего помощника.



— Хороший парень. Кого еще?
— Подыщем несколько человек.
— Учти, на этом участке и в самом деле нужны
крепкие парни.

— Постараемся.

— Вот и хорошо. А теперь у меня к вам, к тебе и Гедгону, личная просьба: строжайше контролируйте каждый шаг Чахунашвили, проверяйте все его задания — и в нарядной, и на месте, не поленитесь лишний раз заглянуть в штрек... А там будет видно...

— Я могу сейчас же сказать вам, что будет потом.

— Ну-ну, говори...

— А разве вы не знаете сами? Ха-ха-ха.

— Поглядите-ка на него! Боюсь, чтоб смех этот не вылился потом в слезы... Итак: контролируйте каждый шаг Чахунашвили, немедленно отменяйте его задание, если оно покажется вам опасным, не забывайте, что мы в ответе за судьбы людей, которых мы доверим Антимозу. Я буду лично наблюдать за этим участком. Ну, желаю удачи!

Трудно сказать, что имел в виду Кахабер, когда сказал Сардиону, что и без того ясно, чем кончится их затея с новым участком. Но так случилось, что чахунашвилевский горноподготовительный участок просуществовал всего одну неделю.

С других участков перевели двух шахтеров — крепильщика и отбойщика, им дали помощников — двух пареньков, отслуживших армию. Участок, таким образом, был укомплектован и приступил к работе, хотя на шахте многие с сомнением покачивали головой — где это слышано, чтоб участок состоял всего из шести человек... Не прошло и трех дней, как случилось непредвиденное.

Первая смена должна была продлить вентиляционный штрек на полметра, для чего надлежало дважды взорвать забой, после первого взрыва очистить его от угля и пустой породы, укрепить свод и только после этого взорвать во второй раз. В паспорте так и было записано. После второго взрыва все повторялось — штрек удлинялся на полметра, и стало быть, задание смены можно было бы считать выполненным.

Ираклий Шубитидзе, Бичиа Надибандзе и один из шахтеров Дурмишхан Чейшвили сидели в тупике от-

рабочего пространства и ждали взрывников. Антимоз был где-то неподалеку. Взрывник Михако Чантуришвили и разносчица амонала Глаша не заставили себя ждать. Михако снял каску, тыльной стороной руки вытер потный лоб и, осветив свод фонарем, повернулся к Ираклию.

— А если мы взорвем два раза подряд?

— Не укрепляя свод?

— Не укрепляя.

— Не знаю. Надо спросить Антимоза, он ведь начальник участка.

— Знаю, что он начальник. Но у меня свои заботы... Ну, взорвал я, а дальше что, сидеть два часа и ждать, пока вы тут будете копошиться? А другие заботы? Думаете, вы важнее других? А свод... — Михако еще раз осветил свод, — я думаю, он выдержит.

— А если не выдержит?

— Тогда, разумеется, обрушится.

— Ничего себе шуточки у тебя.

— Боишься, что не успеешь отскочить?..

— Все может случиться.

— Тогда завалит тебя, и баста, тебе все равно погибать...

— Ты что мелешь?

— Если бы не твоё рвение, может быть, этого участка и не было бы. И у меня жизнь была бы спокойнее. Ну что, взрывать?

— Не знаю, согласовывай этот вопрос с Антимозом.

— Да куда он, к черту, запропастился?

— Был где-то здесь... Эгей, Антимоз!

— Тут я, тут, — слышалось в темноте где-то совсем рядом.

— Поди сюда!

Антимоз был явно не в духе.

— Чего ждешь? — сухо бросил он, оглядывая Михако исподлобья.

— Я свое дело знаю. Слушай, вот мы тут с Ираклием порешили... Будем взрывать дважды подряд.

— Не укрепляя?

— А ты взгляни на свод, сверкает, точно зеркало.

Антимоз знал, что тот, кто хочет завоевать авторитет у шахтеров, не должен бояться риска... Допу-

стим, он согласится... А если свод не выдержит и рухнет?

— Ты думаешь, можно? — спросил он Ираклия.

— Нет, Михако шутит.

— Не шутит он, не шутит, — вмешалась Глаша. — Да ну вас к бесу, я тут надрываюсь с этими сумками, а они байки рассказывают друг другу.

— А ты помолчи, Глаша, не встревай, когда мужчины говорят.

— Это вы-то мужчины! Ха-ха! Взрывавай, Михако, или пошли отсюда, потом пускай ждут, пока мы к ним заглянем!

— Слушай, Антимоз, нам с Глашей еще в трех забоях надо побывать, так что я могу опоздать, ты это учти.

— Ну вот видишь, Ираклий против.

— Ираклий?!

— Отстаньте, ради бога!

— Не хочешь!

— Нет!

— Пошли вы к черту! Ждите, когда доберусь до вас еще раз. Ну, уходите, взрывать буду!

Все, за исключением Михако, покинули штрек и собрались в небольшой боковой выработке.

— Им лень к нам тащиться, а я должен из-за них нарушать закон, — проворчал Антимоз.

— Тоже мне умник нашелся, — парировала Глаша, повернув к нему перепачканное сажеей лицо. — Начальник выискался! Мы всегда так делаем, и ничего. А ты?..

— Ты помалкивай, помалкивай, женщина!

— А с тобой и говорить не стоит!

— Вот и не рыпайся!

У входа в выработку замерцал слабый огонек. Это появился Михако. Он присел на корточки, высунул голову, посмотрел в сторону штрекового тупика и шелкнул чем-то. В тот же миг раздался оглушительный взрыв.

— Ну, быстрее! — сердито произнес Михако, обращаясь к Антимозу. — Чтоб через полтора часа здесь все было готово. Пошли, Глафира!

— Подождите! — сказал вдруг Антимоз. — Я посмотрю свод.

— Вас не поймешь тут!

Антимоз, разумеется, знал, что ту часть паспорта горноподготовительных работ, где говорилось о том, что второй взрыв следует производить только после укрепления свода, никто не соблюдал, проводя вентиляционные, конвейерные или промежуточные штреки. Взрывали дважды подряд, но это скрывалось от руководства шахты. Опытные, бывалые шахтеры считали, что, требуя соблюдения параграфа, инженеры осторожничают, обеспечивают себе спокойную жизнь. До сих пор на памяти Антимоза не было ни единого несчастного случая, причиной которого послужило бы нарушение паспорта работ. Если бы сейчас Антимоз проявил излишнюю осторожность, он стал бы посмешищем для всей шахтерской братии. Он знал, что ни Михако, ни Ираклий не пощадят его. Пока Михако взрывал, Антимоз мечтал об одном — хоть бы Ираклий рискнул и сам предложил взорвать во второй раз. Но Ираклий молча ждал распоряжения новоиспеченного начальника.

— Ираклий, пойдём-ка, взглянем, — предложил Антимоз.

— Пошли.

Антимоз и Ираклий осветили свод. Ни одной трещины, серая, гладкая, сухая кровля сверкала как зеркало.

— Что скажешь, Ираклий?

— А что тут говорить?

— У тебя такой опыт работы на шахте...

— У тебя не меньше.

— И все-таки?..

— Эх, Антимоз, Антимоз! И что ты за человек? Да скажи, скажи им, пусть взрывают.

Тем временем Михако и Глафира уже собрали свой инструмент, и Антимозу пришлось долго упрашивать их.

Когда после второго взрыва рассеялся дым, все в ужасе застыли на месте: на всю ширину забоя на кровле зияла глубокая трещина.

— Ой, связались мы с тобой... — заплакала Глафира и, схватившись за голову, сползла по рудстойке на почву.

Зловеще зияющая трещина предвещала беду. Ира-

клий бросился укреплять свод, крикнув Антимозу, чтоб он помог.

— Я-то тебе для чего? — бормотал Антимоз, от страха не чуввший ног под собой.

— Да помолчи ты! Подними стойку! А вы катитесь отсюда! — бросил он Михако и Глафире, но тут же передумал: — Хотя погоди, Михако, подсоби установить эту рудстойку.

Михако бросил сумку и ухватился за рудстойку.

— Антимоз, не плошай, поднажми!

Бедняга Антимоз, более двадцати лет проработавший на шахте, дрожал всем телом. Втроем они с трудом подняли тяжелую сырую рудстойку. К счастью, распил оказался в самый раз по длине.

— Затяну трещину верхняком, что скажешь, Михако? — спросил, вздыхая, Ираклий.

Михако направил на кровлю сноп света, внимательно оглядел ее.

— Кажись, можно... Хотя...

— Ничего опасного... Вы с Глашей идите... Антимоз, давай сюда!

— Слушай... я...

— Берись, говорю...

В это время в двадцати шагах за углом забрезжил слабый свет. Ираклий издали узнал Гедеона. И Михако узнал его и остановился. Уж если отвечать, то всем вместе, Гедеон с удивлением огляделся по сторонам.

— Что здесь происходит?

— Ничего, батона Гедеон. — Ираклий глубоко вздохнул. — Ну, давай, Антимоз.

Ираклий собирался ставить стойку по другую сторону и закрыть трещину толстой фанерой, чтоб трещина не увеличивалась.

— Погоди-ка, — Гедеон поднял фонарь и снова оглядел свод. Потом повернулся к Ираклию. — Что, взрывали дважды подряд?

Никто не ответил.

— Сюда! — вдруг в ужасе вскрикнула Глаша.

Гедеон едва успел отпрыгнуть в сторону. С кровли один за другим повалились огромные корзины и, упав на почву, разлетелись на мелкие кусочки.

— Молодцы... — сокрушенно покачал головой Гедеон, глядя на Антимоза. — И ты хорош, Ираклий!

Гедесон немедленно рассказал о случившемся Кахаберу, не терпящему партизанщины и нарушений паспорта. Он вызвал к себе Антимоза, Ираклия, Михакю и Глашу и отчитал их по всей строгости. Антимозу был объявлен строгий выговор с последним предупреждением, остальные отделались строгим выговором. Выделили специальную смену из трех человек для укрепления вентиляционного штрека. Шубитидзе наотрез отказался работать с Антимозом и перешел на другой участок.

Наутро к Кахаберу пришел Антимоз и чуть не плача признался, что не может руководить участком, и попросился на более спокойную работу. Кахабер не стал уговаривать его, охотно ликвидировал новый участок, а Антимозу же посоветовал поработать на месте Геронтия Чапичадзе.

— Но ведь он не сегодня-завтра вернется из отпуска?!

— Тогда мы подыщем тебе, батона Антимоз, другую работу.

* * *

«Здравствуй, Мзевинар!

Сколько раз я собирался написать тебе, но, признаться, откладывал бумагу в сторону. Да, сестричка, я обижен на тебя, за все это время ты написала мне всего одно письмо. Неужели ты так занята, что не можешь выкроить несколько минут, чтоб написать брату?

А мне так хочется поговорить с кем-то, открыть душу. Маме я не могу написать всего. Вот кто может служить образцом любви и преданности! Каждую неделю я получаю от нее весточку, иногда в ней всего несколько строчек, но как они дороги для меня, если бы ты только знала!

Как ты поживаешь, сестричка, как там наш зять? Дети?

У меня все по-прежнему. Я сейчас объясню тебе, что я подразумеваю под этим словом... Ты знаешь, я даже забыл, когда я был в последний раз в Тбилиси, мне кажется, это было лет сто-двести назад. С тех пор, как я уехал из Тбилиси, в моей жизни было столько всего, что и описать невозможно. А я и не верю, неуже-

ли было время, когда я бесцельно и бессмысленно бродил по проспекту Руставели, и мне море было по колени. Какой я был тогда счастливый и беззаботный!

Я уже говорил тебе, что не могу написать маме всего. Ты, наверное, подумала, неужели брат за это время не приобрел друга, близкого человека, с кем бы он мог отвести душу? Я не могу сейчас ничего сказать тебе, Мзевинар. Казалось бы, есть у меня и друзья, и товарищи, болеющие за меня, но... Нет, не могу ничего сказать, знаю только, что вот сижу сейчас за столом, никого не жду (и меня никто не ждет) и пытаюсь поделиться с сестрой всем, что наболело у меня на душе.

Не помню, писал ли я тебе о смерти Герасиме Цнобиладзе. Старик был мне другом, помогал и поддерживал меня... Когда он находился на шахте, я был спокоен, когда сидел рядом в нарядной, мне казалось, что шахтеры слушают меня внимательнее, с большим почтением. Но случилось так... в общем, у него оказался рак, и бедняга вскоре умер. Я потерял наставника и друга.

Хотя я буду не совсем прав, говоря, что с его смертью я остался одинок. Близкого друга у меня, правда, нет (насколько я помню, никогда и не было, что, вероятно, объясняется только моей замкнутостью). Но друзей и, как говорится, болельщиков у меня достаточно. Это и Сардион Рачвелишвили, и Кахабер Гурасашвили, и Гедеон Хазарадзе, и ближайший друг Герасиме — Архипо Цалуглишвили. Все они верят в меня и помогают, как только возможно. Но... Все чаще и чаще я думаю о том, что если бы я не приехал, может быть, был бы жив Иорам Носелидзе, если бы не я — не ушел бы с участка Ираклий Шубитидзе, уже много лет работающий на этом участке шахтер, если можно так сказать, с большой буквы. Не было бы неприятностей у Гриши Одыбашева, как впоследствии выяснилось, не такого уж плохого человека, как мне казалось. Если бы не я, на участке, вероятно, работали бы с меньшим риском, а добывали бы больше угля... Мой предшественник Джибраил Хелтуплишвили добивался этого. Мне так и не посчастливилось познакомиться с ним. Знаю, что он работает рядовым шахтером, собирается получить аттестат (представь себе, он был начальником участка, не имея специального образова-

ния). Хорошо было бы все-таки познакомиться с ним, может быть, тогда исчезли бы грызущие меня сомнения, что и в его судьбе я сыграл неблагоприятную роль. Но ведь ты понимаешь, что я-то вовсе ни при чем: закон гласит, что на руководящей должности на шахте может работать только человек со специальным образованием, имеющий соответствующий диплом — работа на шахте опасна, связана с риском, и тут нужны люди, знающие свое дело. У меня вот диплом есть, у Джибраила его нет. Ты представить себе не можешь, какие тут страсти кипели вокруг него. Ах, у него нет даже аттестата? Ну, это уже слишком! Несчастливые шахтеры, как они работали, имея такого начальника! Немедленно снять его! Выгнать! Что? Хорошо работает? Ну и что с того? Это еще ничего не значит! Абсолютно ничего! Немедленно снять его, а на его место назначить Теймураза Арджеванидзе... О, это прекрасный мальчик, во всем слушался мамочку, был отличником с первого класса, окончив школу, подал документы в институт. Почему все-таки на горный факультет? Какое это имеет значение — Теймураз везде учился бы хорошо. И на горном факультете учился чуть ли не лучше всех, преподаватели только его и хвалили. А закончив институт, согласился поехать в провинцию. Да-да, представьте себе, не побрезговал, согласился! Так дорогу ему, дорогу! Идет Теймураз Арджеванидзе! Что? Заняты все должности? Немедленно снять кого-нибудь, найдется у вас практик, не имеющий диплома. Вот его и надо снять, чтоб освободить дорогу для человека с дипломом! Не теряйте времени — Теймураза ждут почет и уважение! Правда, может случиться, что почет и уважение придут к нему несколько позже, когда он приобретет жизненный опыт, ну и что? Мы посторонимся. Дорогу ему, дорогу!

Я не иронизирую, Мзевинар, это так. Если бы даже на участке Джибраила не случилась авария — и один ротозей (причем, виноват только сам) не сломал бы ногу, Джибраила все равно бы сняли и назначили меня, нашли бы, уверяю тебя, причину для этого. Теперь ты понимаешь, почему я так хочу познакомиться с Джибраилом и просить у него прощения.

На последнем собрании говорилось о том (я-то это знал), что мой участок работает и сейчас хорошо, что

я зарекомендовал себя хорошим инженером. И ты знаешь, мне порой кажется, что зря я терзаюсь, что мне вовсе не надо просить у Джибраила прощения, хотя я знаю, что пройдет еще немало времени, прежде чем я приобрету опыт, какой был у Джибраила. Ну и что? Будем жить и работать... И время покажет, кто на что горазд...

Целый час пишу, устал даже, но чувствую, что не смогу написать обо всем, что здесь стряслось, и причиной тому был я, моя дорогая Мзевинар... Не могу... Но знаю, ты веришь, что твой брат — человек честный, порядочный, благородный, готовый за друзей отдать жизнь. И если ты так думаешь, то я счастлив, значит есть на земле человек, который понимает меня, верит в меня.

Дорогая Мзевинар, если бы ты знала, как мне трудно... Мужчине не полагается говорить так, но почему-то предчувствие недоброго не дает мне покоя. Просыпаюсь в полночь и беспокойно хожу из угла в угол, мне все кажется, что я могу кому-то еще принести беду, несчастье. И не могу никуда убежать от этого...

Мзевинар, а что если попросить маму приехать ко мне? У меня все-таки отдельная комната, администрация шахты, я думаю, не будет против. Дел у нее здесь будет немного, денег, слава богу, достаточно. Будет она ходить на рынок, готовить обед... Рядом будет человек, с кем я смогу поговорить. Подумай об этом, посоветуйся с мамой, хорошо?..

Ну что еще написать тебе? Ты не переживай за меня, дела у меня неплохи... А так... чего только не бывает... Но знай, если мне придется до конца своих дней остаться в этом городке... Хотя, нечего говорить о том, что и без того ясно. Целуй детишек, привет зятю. Целую тебя. Теймураз».

* * *

От внимания Митуши Каимамишвили и его дружок не укрылась встреча Джибраила с Нестором Бубашвили. На следующий день, когда Джибраил, уставив рудстойки, отпустил помощника и собирался уходить, он заметил, что в забой снизу кто-то вошел и не спеша пошел вверх, но пути освещая фонарем

рудстойки. Джибраил догадался, кто это может быть. Да, это был Митуша Каимамишвили.

— Джибраил, закончил работу?

— Да.

— Давай присядем, передохнем немного, а?

Митуша сел на обрезок бревна, Джибраил последовал его примеру.

— Ты спешишь домой?

— Да нет...

— Прекрасно. Я хотел поговорить с тобой. Но... Интересно, этот забой хорошо вентилируется? — Митуша поднял голову, огляделся по сторонам.

— С утра в шахте, так хочется покурить... Лучше всего, конечно, подняться и покурить всласть, но наверху мне не удастся поговорить с тобой, — Митуша испытующе посмотрел Джибраилу в глаза. — А здесь курить опасно. У метана, как тебе известно, ни запаха, ни цвета, подступит так, что и не почувствуешь. А? Что скажешь?

Джибраил пожал плечами.

— Закурить?

— Кури... В конце концов, все смертно...

— Ну, до смерти нам еще далеко. Но движение воздуха здесь чувствуется, — Митуша повернулся и приложил руку к пласту. — Да, вот здесь, сверху, чувствуется поток свежего воздуха. Ну, была не была. — Митуша снял брезентовую куртку, достал из нагрудного кармана пачку сигарет и спички, старательно размял сигарету и, прежде чем чиркнуть спичкой, еще раз огляделся по сторонам. — Раз, два, три! — чиркнув спичкой, он прикурил и торжествующе взглянул на Джибраила. — Пронесло! Будешь курить?

— Пожалуй...

Митуша протянул Джибраилу пачку.

— Как я погляжу, ты можешь долго не курить.

— Могу.

— А я вот не могу... Какие бы неотложные дела у меня ни были, я каждый час бегу наверх, чтоб покурить, или же отыскиваю вот такое безопасное место... Хотя разве есть здесь безопасное место? Сколько раз бывало, проверяли замерщики метана и ничего не находили, а забой в это время весь пропитан газом...

Слушай, Джибраил, ну что там наш Нестор Бубашвили?
ли?..

— Ничего...

— Стало быть, он просто так сидел рядом с тобой целый час?

— Мы говорили о разных делах.

— Все же?

— Это что, допрос?

— Называй как хочешь.

— Ну, допустим, он говорил о том, что хоть бы не было войны.

— А ему, бобылю, не все равно, будет война или нет? Ни жены, ни детей, никаких корней.

— Женится, наверное.

— Посмотрим.

— А почему бы и нет? Человек он честный, трудяга... Найдется женщина.

— Это уж пусть сами женщины решают. А ты, дорогой мой Джибраил, искал бы друзей получше. Ну какой тебе друг разиня Нестор?

— А почему бы и нет?

— Я бы посоветовал тебе дружить, к примеру, со мной.

— Об этом ты должен был позаботиться раньше.

— А, ты намекаешь на то собрание? Нашел о чем говорить... Да, все знали, что мы неправы, от людей ничего не скроешь.

— Ну и ну!..

— Я сейчас с тобой откровенен, как никогда.

— Слушай...

— погоди, дай сказать... Да, на собрании тебе досталось от нас, это верно. Переборщили мы тогда, но ничего не поделаешь, так уж вышло. Эти волки как разинут свои пасти, их не остановишь... Потом тебя вызвал Арчаидзе и предложил уйти с нашего участка. А Ясон Вашакмадзе предложил «выдвинуть» тебя. Почему? Ты прекрасно знаешь это. Пошли дальше... Когда ты уехал к умирающему тестю, мы вlepили тебе выговор...

— Этого мало?

— Немало. Но ни одно из этих «мероприятий» ломаного гроша не стоит. Все равно нам никто не верит.

— Не знаю...

— Знаешь. И если ты победишь меня, я погиб. Я буду опозорен, а кому я нужен такой?

— И об этом надо было думать раньше.

— Я думал.

— И что же?

— Нас слишком много...

— Не так уж и много.

— Двадцать, двадцать пять человек — мало?

— И не так уж много.

— Думаешь, одолеете нас?

— Скорее всего.

— Выходит, надеешься на Нестора.

— На Нестора, на Гогисванидзе, на себя и еще на многих...

— И как ты думаешь бороться с нами?

— Очень просто. За нами — правда, и этого достаточно.

— Достаточно?

— Конечно.

— Но ведь нас много!

— Нас не меньше.

— Ты уверен?

— Да.

— Хм...

Митуша замолчал. Бросил на почву окурок, растер его ногой.

— А если я извинюсь? Здесь, но не при людях.

— Нет.

— Почему?

— А потому.

— Пожалел Бубашвили?

— И его тоже.

— Впредь мы не будем обделять вас.

— А что будет с тем парнем?

— С каким?

— С тем, что пришел к вам после демобилизации.

А что вы с ним сделали? Ведь он обозлился на весь мир!

— Ты и это знаешь?

— Как видишь.

— Он, наверное, уже где-нибудь работает... А нам с тобой, дорогой мой Джibraил, отступить поздно.

— Почему?

— А ты подумай... Уже шесть-семь лет у меня на участке есть рекордсмены. Все привыкли к этому — и начальник шахты, и трест, и райком... Весь город... А теперь, если эти мои рекордсмены лопнут как мыльные пузыри, не спросят меня, куда же они подевались? А ведь нам нужны рекордсмены.

— Дутые?..

— Так или иначе, они у нас должны быть... А ты своим упрямством всех восстановишь против себя.

— Арчаидзе уже видеть меня не может. Хотя... кого он любит?.. Большой человек, что с него спрашивать?

— Что ты выиграешь? Скажи, что?

— Ничего. Я не думаю о выгоде.

— Надеешься на Сардиона?

— Я надеюсь на самого себя.

— Значит — нет?

— Бросьте жульничать, извинитесь всенародно передо мной — и живите, как знаете.

— Что ты называешь жульничеством?

— То, что вы делаете.

— Стало быть, мы должны признаться: все наши рекордсмены — липа, мы обманываем государство? Это я должен сказать?

— Ведь все все знают... Митуша, оставь меня в покое, иди своим путем.

— Я-то пойду, но вот...

— А ты не угрожай мне.

— Я не угрожаю, но...

— Говорю тебе, я не боюсь твоей угрозы! — Джибраил встал. Он весь побелел от негодования.

— Эх, ты...

Митуша резко вскочил и быстрым шагом пошел вниз.

* * *

В окнах квартиры, где живет семья Хелтуплишвили, рано гаснет свет. Иринэ в трауре, никого не хочет видеть, никуда не ходит. В десять часов она укладывает спать Гогутуну, быстро, стараясь не шуметь, убирает кухню, потом, взглянув еще раз на малышку, не раскрылась ли она, ложится, тихо вздыхает и вытирает слезы, которые так часто увлажняют ее черные глаза с тех пор, как умер Кайхосро.

Джибраил в своей комнате курит последнюю сигарету, гасит свет, раздевается, ложится, заложив руки за голову, и... до глубокой ночи лежит не смыкая глаз. Он думает, думает... Чтоб хоть немного отвлечься от мыслей, не дающих ему уснуть, он закуривает. Комната заполняется сизым дымом. Джибраил встает, открывает окно. В комнату вместе со свежим воздухом врываются звуки ночи.

О чем ты думаешь, Джибраил Хелтуплишвили?

Знаем, нелегкая у тебя жизнь, не раз смотрел ты смерти в глаза, не раз встречался с несправедливостью... Были и обиды, и огорчения, но ничто не сломило тебя. Вон даже Митуша два дня назад признался, что люди все видят, все знают, что мы, мол, виноваты перед тобой. Чего тебе еще? День ото дня растет на новой шахте твой авторитет. Тебя уже все знают, много среди шахтеров твоих единомышленников. А девушки?.. Сколько раз ловил ты на себе их любопытные взгляды!..

Ты, видимо, тот человек, к которому люди тянутся, которому верят...

Вчера в столовой Нестор подсел к Джибраилу и, стараясь не смотреть ему в глаза, сказал, что не стоит ему связываться с Каимамишвили, все равно их не одолеть. А в это время Митуша с дружкой сидели в противоположном углу столовой и хохотали. Да, это по их требованию подсел к тебе Нестор, они припугнули его. Ты удивлен? Нестор — слабый человек, его никто никогда и за человека-то не принимал, нет ничего странного в его поведении. Но ты протяни ему руку помощи, Джибраил, и увидишь, как он изменится. Ты уже протянул ему руку? Вот и хорошо.

Каимамишвили с дружкой все еще чувствуют себя вольготно? Ничего. Ты опытный шахтер, присмотришь: Каимамишвили своим «рекордсменам» приписывает высокие проценты «авансом». На что-то надеется. Часть он урвет у таких, как Нестор, а в конце квартала или года придет к маркшейдерам, напомнит им «об общих показателях», о престиже шахты, пригласит в ресторан... Или же с помощью железнодорожников покроет долг. Затем снова «одолжит» уголь уже у другого — и так до бесконечности. Если никто не вмешается, их жульничеству конца не будет. А труженики вро-

де Нестора так и будут ходить обделенные. И куда же ты смотришь, Джибраил? Слава богу, ума, сил, мужества тебе не занимать! Не отступай, Джибраил, шахтеры надеются на тебя, они пойдут за тобой, будь уверен. Не отступай! Что? Не очень-то надеешься на таких, как Тариэл Гогисванидзе и Ясон Хурцидзе? Напрасно... Правда, тогда они отступили, помнишь? Но что поделаешь, они опять-таки сделали это ради тебя, не хотели, думали, что таким образом они оградят тебя от Митуши. В каждом добром деле нужен человек, который пойдет впереди других, и таким человеком для шахтеров являешься ты.

Что тебя волнует еще, Джибраил? Да-да, знаем... Аттестат... Иринэ не отступит... Но то, что предлагает Иринэ, тебе не подходит, ты не пойдешь против чести и совести. Не можешь отказаться? Любишь Иринэ и не хочешь обижать ее... Да, тут уж ничего не поделаешь... Подумай, Джибраил, разве получение аттестата незаконным путем не так же наказуемо, как действия Каимамишвили? Подумай как следует, не посрами себя...

В тот же день Джибраил отыскал на шахте Нестора Бубашвили и почти силком затащил его к Каимамишвили, даже не объяснив, почему он это делает. Каимамишвили сидел за своим столом.

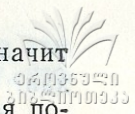
- Здорово!
- Здравствуй.
- Этот человек знаком тебе?
- Где-то встречал, — Митуша забарабанил пальцами по столу.
- Вы ему неоднократно плевали в душу.
- Разве? И что же?
- Впредь не смейте обижать его, понятно?

Джибраил круто повернулся и вышел. Растерянный, побледневший от страха Нестор и опешивший от неожиданности, разъяренный Каимамишвили без слов уставились друг на друга.

Джибраил и Иринэ готовились ко сну, когда в дверь позвонили. Это был Нестор.

- Заходи, Нестор!
- Да нет, ничего...

- Заходи, не будем же стоять в дверях?
- Джибраил проводил гостя в свою комнату.
- Что скажешь?
- Да ты и сам знаешь.
- А все же?
- Митуша и его приспешники точат на тебя зубы.
- Это мне известно. Дальше?
- А дальше то, что я их больше не боюсь. В управлении торговли у меня двоюродный брат работает, Капитон Арабидзе. Может, слышал?
- Нет, не слышал.
- Да... Прекрасный человек, все понимает с полуслова. Так он мне сказал, если, мол, тебе придется уйти из шахты, не тревожься, я всегда подыщу для тебя подходящее место.
- Какое такое подходящее место можно найти для шахтера в торговле?
- И я было так думал. Всю свою жизнь проработал на шахте и на пенсию отсюда уходить собирался, но коли мне житья не дают? И что особенного мне нужно? Как-нибудь проживу, но отныне... я на твоей стороне, теперь как хочешь... Почему отнимают? Почему надувают? Кабы попросили, я им сам подарил бы половину добытого мной угля. Мне много не надо...
- Много ли тебе надо, мало ли — не в этом дело. То, что ты вырабатываешь своим трудом...
- Правильно. И я о том же, пусть не измываются надо мной. Но ты главного не знаешь. Заводилой в этом деле не Митуша, заводилой там... одним словом...
- Ты что-то не договариваешь, Нестор.
- Пожалуй, но об этом, так сказать, все знают...
- Нестор оглянулся по сторонам, как бы опасаясь, что их кто-то подслушивает и, вдруг махнув рукой, решил. — Эх! Ты знаешь Дурмишхана Зенаишвили?
- Зенаишвили? В первый раз слышу эту фамилию.
- Вот видишь! А теперь загляни в зарплатную ведомость. Столько денег, сколько ему, никому не выписывают. А он на участке в кои веки появляется. Порой две, три, четыре недели пройдет, а его в забое не увидишь.
- Погоди! Это такой чернявый, с ровными бровями? Рябой?



— Именно. Неприметный такой, рябой. Значит знаешь.

— Видел пару раз. Он что-то... грозно на меня поглядывал.

— Еще бы! Ты ведь против него действуешь.

— Против него?!

— Слушай меня, — Нестор приблизил свое лицо к лицу Джибраила и перешел на шепот. — Этот Зенаишвили—бывший вор. Говорят, он бросил это дело, но среди подобного люда пользуется большим весом. Три или четыре года, как он вышел из тюрьмы. Все тело, говорят, у него разрисовано. А тому, что он покончил с воровством, удивляться не приходится. Палец о палец не ударяя, имеет в месяц пятьсот-шестьсот рублей.

— Каимамишвили выписывает?

— Да. Но об этом и Арчаидзе знает, и Вашакмадзе. Одним словом, все знают.

— Давай расскажи все по порядку.

— Что еще рассказывать! Когда он вышел из тюрьмы, у него за душой и гроша не было, он устроился на наш участок якобы уборщиком. Подумал, наверное, лопатой размахивать — большого ума не требуется, а потом, мол, снова своим ремеслом займусь. Но этот тип — хороший жук. От него ничего не укроется! Вскоре он унюхал, что Митуша и его приспешники чего-то там плутуют. Вот он и обложил Митушу данью — я, мол, изредка буду появляться на участке, а ты мне выписывай ежемесячно столько-то и столько-то, в противном случае сам знаешь, что тебя ждет. Митуша со своими приспешниками — народ дюжий, но поди сладь с ножом и револьвером. А этого железа в доме у Зенаишвили полным-полно. Да... у него на совести два или три убийства.

— И он гуляет на свободе?

— Вон чипашвилевский сынок ни за что пырнул ножом в живот своего товарища. Дали ему двенадцать лет, но... эти проклятые годы так летят или, может, по какой-либо другой причине, не успели мы оглянуться, как он вновь заявился. Отбыл, говорят, свой срок. Какое-то время работал в привокзальном буфете, нынче вот в институт собирается поступать. А тот несчастный парень, которого он пырнул ножом, гниет в земле.

— Ладно, об этом — потом. А что этот Дурмишхан?

— А то, что наш Митуша не может дать ему отпор. Кабы его воля, он бы себя не пожалел, чтобы расправиться с мошенником, этот Зенаишвили у него колом в горле застрял. Я знаю, что говорю. Но Митуша боится его. Кроме того, у него на шее еще несколько человек... Дурной пример, знаешь ли... На чужом горбу многие любят посидеть. Так что ты не столько с Митушей будешь иметь дело, сколько с Зенаишвили. Воры его зовут Черный капитан.

— Что он может мне сделать?

— Если не будешь осторожен, найдет, что. Это травленный зверь. Воровать с детства начал. Жирный кусок так легко не упустит.

— А ты не боишься?

— Кого?

— Дурмишхана?

— Мне-то чего бояться?

— Ну вот пришел, рассказал, открыл мне глаза... Разве это не акция против него?

— Пожалуй, да... Но об меня он не станет руки марать. Ха! Из-за меня в тюрьму идти?! Как бы не так! Что я такое? Кто на меня рявкнет, тот мне и начальник. Вот ты, Джibraил, ты будь осторожен. Вся шахта знает, что за тобой идут честные люди.

— Почему же ты до сих пор молчал?

— Как это молчал? Поначалу и я было протестовал, но потом...

— Наподдали тебе?

— Эх, даже этого меня не удостоили. А было бы неплохо, кабы разок как следует отдубасили. Так нет, быстренько приструнили: заткнись, говорят, не то шею, как цыпленку, свернем. Что мне оставалось делать... Митуша пригрозил, загоню, мол, в открытый забой и сброшу на тебя увесистый булыжник, поди потом доказывай на том свете, что он не сам на тебя свалился.

— Ха-ха-ха!

— Ты вот смеешься, а они ведь способны на такое. Для Зенаишвили что человека убить, что муху раздавить — все одно.

— Кого-нибудь трогали на участке?

— Кажется, нет. Не слышал. Все наши как-то сра-

зу сломались. Некоторые даже думают: плевать на эти две или три тонны угля. Смирились. А все потому, что не было жоака. Теперь вот ты...

— Совсем не стремлюсь быть жоаком. А все-таки ты, Нестор, нехороший человек!

— Почему?

— Впутал меня в такое дело, а потом говоришь: будь осторожен, не то перережут тебе горло.

— Я тебя впутал? Да я...

— Ладно уж, я пошутил. Выпьем по стаканчику?

— Если найдется...

— А как же!

Было за полночь, а Нестор и Джибраил все сидели на кухне, угощались вином; Джибраил внимательно слушал Нестора, который рассказывал ему подробности жизни участка.

* * *

Джибраилу почти никогда не приходилось иметь дело с уголовниками — ворами, рецидивистами, убийцами и прочим сбродом. Случалось, кто-либо из этой компании ненароком оказывался на его участке и пытался установить собственные «порядки», но ему тут же давали понять, что здесь это у него не пройдет. В таких случаях ребята Джибраила проявляли действительно редкое единодушие и смелость. Как-то раз, придя утром в дежурку, Джибраил поинтересовался, куда подевался парень, которого неделей раньше приняли помощником крепильщика.

— Он попрощался с нами, — коротко ответил Иракий Шубитидзе.

— Почему?

— Здешние порядки не понравились. В забое — ни вина тебе, ни женщин, ни карт, ни игральные кости... Ежели бы я знал, ни за что сюда не сунулся бы, — сказал и ушел.

Джибраил все понял, рассмеялся и уже не возвращался к этому разговору.

Но он слышал также: если рецидивистам удастся добиться своего и запугать людей, тогда пиши пропало — конец порядку, честному труду, товарищеским, дружеским отношениям... Рецидивисты не любят уступать завоеванных позиций. Они идут на самые край-

ние меры, вплоть до убийства, лишь бы не упустить своего и жить без забот за счет чужого труда.

Джибраил мельком несколько раз видел Дурмишхана Зенаишвили. И интуитивно почувствовал, что Черный капитан принадлежит к категории самых страшных, отчаянных рецидивистов. Зенаишвили было далеко за сорок. На лице застыло недовольное выражение. Разговаривать он не любил, а если случалось раскрыть рот, то лишь для того, чтобы огрызнуться как собака. По-видимому, несправедная жизнь, воровство, бесконечные скитания по тюрьмам опостытели ему, и возвращаться в кутузку он не собирался. А трудиться он не умел, да и не хотел. Самое пустячное дело, которое поручалось ему, — переставить, скажем, рудстойку с одного места на другое, — он воспринимал как великое оскорбление, и от гнева глаза его наливались кровью. Он быстро уличил Каимамишвили в мошенничестве и подлоге, припугнул его и сел на шею... Неделями и месяцами он не заглядывал в шахту, но зарплату, притом немалую, получал исправно. Все это знали, но закрывали глаза — и начальник шахты, и главный инженер, и секретарь парторганизации. И не нашлось никого, кто дал бы ему отпор и навел на участке порядок, восстановил уважительное отношение к честному труду.

Джибраил по своей природе был добропорядочным правдивым человеком. В глубине души он даже не верил, что его борьба за порядок и честный труд может иметь роковые последствия, что кто-то пырнет ножом или пристрелит его. Поэтому Зенаишвили он не боялся, и его решение навести порядок на участке еще более окрепло. К тому же Джибраилу не терпелось рассчитаться за то оскорбление, которое ему нанесли на последнем собрании. Бессонными ночами, уставясь невидящими глазами в потолок, он думал о том, что если ему не удастся осуществить задуманное, вся его жизнь гроша ломаного не будет стоить. Он не знал, с кого начать, — с Каимамишвили и его «рекордсменов» или с Дурмишхана Зенаишвили. Он долго ломал голову над этим и в конце концов решил поступить так, как того требовало дело. И Дурмишхан и каимамишвилевские приспешники были дармоедами и его личными врагами. Лучше всего, конечно, было бы при-

няться сперва за Каимамишвили и компанию: честные шахтеры скорее поддержат его, а против Зенаишвили могут и не выступить, и тогда Джибраил рискует остаться один.

Каимамишвили не здоровался ни с Джибраилом, ни с Тариэлом Гогисванидзе, ни с Нестором. Он был в такой ярости, что у Джибраила мелькнула мысль: то-то и гляди опередит Зенаишвили и сам всадит в меня пулю. Но он ничем не выдавал своего настроения и делал свое дело по обыкновению добросовестно.

Дней через десять закончился квартал. Каимамишвили не посмел отступить от установленных правил и на четверг назначил общее собрание участка. А шахту между тем как громом поразило — всем стало известно, что Джибраил прямо приказал Каимамишвили не урезать ни на один грамм выработку Нестора Бубашвили. Все понимали, что это начало борьбы и с нетерпением ждали общего собрания участка.

В четверг вечером в клубе шахтеров яблоку негде было упасть.

В президиуме, как обычно, с краю сидел Кацриэл Арчаидзе, по обыкновению хмуро смотрел в зал и всем своим видом, казалось бы, говорил: эта жизнь яйца выеденного не стоит, так что не надо изводиться или других изводить. Митуша Каимамишвили встал, колокольчик звякнул в его руке, и общее собрание было открыто.

— Для ведения собрания нужно выбрать председателя, прошу назвать кандидатуры!

— Гурам Караулашвили! — тут же раздалось из зала.

Караулашвили был каимамишвилевским прихвостнем. Как видно, Митуша не думал изменять своим правилам и собирался вести собрание как обычно.

— Других кандидатур нет? Ну тогда...

— Есть! — послышалось вдруг из середины зала. Побледневший от сознания собственной дерзости Тариэл Гогисванидзе встал и, ухватившись за спинку стоящего перед ним стула, продолжил: — Я хочу сказать, товарищи, что сегодня мы собрались здесь не для того, чтобы произнести заученные фразы — да здравствует, вперед и выше! — и разойтись. Нет! За это время

назрело немало наболевших вопросов, которые мы сегодня должны разрешить.

— Кто мешал тебе решать наболевшие вопросы? — насмешливо осведомился Митуша.

— Все это выяснится сегодня. Я предлагаю избрать председателем собрания товарища Ясона Хурцидзе.

— Какое имеет значение, кто будет председателем?

— В том-то и дело, что имеет!

— Почему всегда выбирают каимамишвилевских людей? Пусть сегодня Ясон будет председателем...

— Да, да, пусть будет Ясон!

— Давайте голосовать, голосовать!

Позеленевший Каимамишвили был вынужден согласиться на голосование. Большинство подняло руки за Ясона Хурцидзе. Огромный, неуклюжий, он поднялся в президиум и, побагровев от смущения, обвел зал растерянным взглядом.

— Я, конечно, так сказал бы, товарищи... — начал Ясон неуверенно. — Одним словом, сегодня мы должны говорить правду. Вот и товарищ Арчаидзе здесь...

— А до сих пор мы собирались, чтобы врать друг другу? — спросил, глядя с презрением на Ясона, Каимамишвили.

— Я этого не говорил, но...

— Эй, председатель, дай нам выбрать секретаря!

— Без секретаря собираешься вести собрание?!

— Сегодня все должно быть занесено в протокол!

Секретарем собрания выбрали уборщика Джачвлиани.

— Слово предоставляется товарищу Каимамишвили!

Митуша говорил кратко, без подъема. Впервые за то время, что он руководил участком, он не был хозяином положения. В своем докладе Каимамишвили никого особенно не хвалил, но и не критиковал. Судя по его словам, на участке все работали хорошо, и он был в числе передовых. В подтверждение сказанного Митуша привел несколько цифр и, закончив, сел на свое место.

Его приверженцы — человек тридцать — дружно захлопали. Остальные присоединились к ним, но как-

то безучастно, вяло. Уже много лет подряд на участке были хорошие показатели, и это уже никого не удивляло.

— Прошу тех, кто хочет выступить в прениях, поднять руки, — сказал Ясон.

Быстрее всех поднял руку Гурам Караулашвили, именно тот, кого Каимамишвили хотел выбрать председателем собрания.

— Сегодняшнее наше собрание выразило мне в какой-то степени недоверие, но я все же хочу высказаться. Наш участок, которым вот уже столько лет так умело руководит товарищ Каимамишвили, передовой, товарищи! А это — немалое дело. Мы как-то привыкли к этому и считаем это в порядке вещей. А ведь если вдуматься, товарищи, то нам действительно есть чем гордиться, — Караулашвили извлек из кармана какую-то бумагу. — Товарищ Каимамишвили привел тут цифры, я не стану повторяться, но если мы сравним их с показателями других участков, выяснится, что у нас прекрасно поставлено дело. Я могу назвать эти цифры...

— Не стоит!

— Что?! Почему не стоит?!

— Кабы в них была бы нужда, Каимамишвили сам бы их привел!

— Те, кто спешат, могут уходить, в этих цифрах, между прочим, вся наша сущность.

— Моя сущность мне прекрасно известна, цифры никого не интересуют.

— Как хотите, — Караулашвили спрятал бумагу в карман. — Все, правда, знают, что наш участок работает прекрасно. А в этом большая заслуга товарища Каимамишвили, который на наших глазах из рядового шахтера вышел в руководящие работники большого масштаба. Это не отрицают ни руководство шахты, ни вышестоящие товарищи.

Митуша с достоинством наклонил голову.

— Кто еще желает высказаться? — Ясон, встав, оглядел зал.

— погоди! Дай мне сказать! — вскочил с места Михаил. — Вы все тут о цифрах да о процентах, а за ними и о деле, извините, недолго забыть! Это уж точно! погоди, погоди! Цифры и проценты — пожалуйста! А как насчет сахара, масла и тому подобного?! Поче-

му в нашем ларьке нет этого постоянно? Почему я, рабочий человек, должен топтать за всем этим целых пять километров? Я...

— Что он там городит?

— О каком масле ты толкуешь, тебе впору о дубовых досках заботиться!

— Масло! Ха-ха!

— Дайте ему сказать!

— Этот пока душу не отведет, не успокоится. Пусть выскажется!

— Во-первых... Погодите! О дубовых досках не я должен заботиться, а тот, кто ненавидит рабочего человека. Я прихожу домой измочаленный, ног под собой не чуя, и вместо того, чтобы передохнуть... Да! Это во-первых! А во-вторых, я уже говорил однажды: почему нарушается график движения автобусов? Почему позавчера я опоздал со взрывом? Может быть, я поленился подняться наверх? Вот именно! Вот о чем здесь забывают! Оставьте эти проценты, подумайте о деле!

— Ладно уж, садись, Михаил!

— Проценты, по-твоему, не дело?

— Теперь его не остановишь!

— Михаил сам прекрасно знает, когда ему надо встать или когда сесть. Не надо меня учить. И никакой я тебе не Михаил. Михаила у себя дома поищи!

— Слово предоставляется Джибраилу Хелтуплишвили.

Джибраил поднялся на трибуну, вынул из кармана лист бумаги и положил его перед собой.

— Товарищи! Прошло не так уж много времени с того дня, как в этом же зале на общем собрании нашего участка Митуша Каимамишвили со своими друзьями обругал и опозорил меня. До сих пор при воспоминании об этом...

— Видать, память хорошая! — раздался из зала насмешливый голос.

— Тихо!

— Только без подобных реплик!

— Он и не таким участком руководил!

— Дайте ему говорить!

— Да! Вы, наверное, помните и то, что я не смог сказать в свое оправдание ни одного слова, и долгое время меня не оставляла мысль, что большинство из

вас, наверное, думает, что я смолчал потому, что мне сказать было нечего.

— Никто так не думал!

— Пусть говорит!

— Не прерывайте его!

— Так мы до завтрашнего утра не кончим!

— Тихо!

— Да... Но не будем возвращаться к старому. Поздно об этом говорить! А вот о сегодняшнем положении на участке, о нашей работе сегодня поговорить следует. Именно потому я и попросил слова. И если после этого иные товарищи снова обвинят меня в том, что я-де подкапываюсь под Каимамишвили и хочу занять его место, то я успокою их: у меня, товарищи, восьмиклассное образование. Я, так сказать, горняк-самоучка, а работал начальником участка потому, что... я и сам не знаю, почему, как это получилось... Потом, когда появились знающие, образованные люди, мне объявили, что до тех пор, пока я не приобрету соответствующих знаний, на руководящую должность могу не рассчитывать, так что на должность Каимамишвили я не претендую и претендовать не могу. По правде говоря, я прекрасно чувствую себя в роли простого крепильщика: после работы идешь себе домой, и никаких волнений по поводу того, что и как там на участке. И ни на что не променяю эту должность.

— Дай бог тебе здоровья!

— Ты просто кладезь премудрости!

— Эй ты! Поищи себе другой предмет для насмешек!

— Попридержи язык!

— Пусти меня!

— Тихо! Что случилось?!

— Всем известно, что ты не лезешь в начальники! Всем! И большим и малым!

— Тихо!

— Да... Теперь о нашем участке... Дело в том, что все мы—и крепильщики, и монтажники, и уборщики, и отбойщики — все без исключения должны поднять голос против тех безобразий, которые творятся на нашем участке и положить им конец.

— Ого!

— Да, да!

— Нашим участком весь город гордится!
— Ты, видать, не слышал об этом?!
— Долой! К чертям!
— Мы это еще посмотрим, кого посылать к чер-
тям!

— Давай дальше, Джибраил!
— Нечего запугивать нас! Прошло то время!
— Дальше, Джибраил!
— Наверное, будет лучше, если я буду говорить по порядку. Прошу только об одном: пусть некоторые товарищи воздержатся от оскорбительных замечаний в мой адрес. Я к этому не привык и привыкать не собираюсь. А теперь перейдем к делу. Товарищ Каимамишвили охарактеризовал общее положение на участке. И в общем оно действительно удовлетворительное. План выполняется, производительность труда хорошая, качество угля приличное и даже состояние безопасности труда... Тяжелых травм не было, а если кто и пострадал слегка, то по своей же неосмотрительности. Каимамишвили в этом не виноват... Но в то же время на нашем участке творится нечто такое, что не только терпеть, но и вообразить в наше время... Я не нахожу слов, товарищи. На нашем участке посрамляется, обесценивается, подвергается глумлению человек и его честный труд. На нашем участке царит ложь, обман, вероломство, рвачество, честного человека здесь обкрадывают и надувают. У нас творятся такие безобразия, с которыми наш народ уже столько лет самоотверженно борется.

— Факты! — крикнул Каимамишвили, вскакивая с места. На нем не было лица. — О таких вещах без фактов не говорят!

— Вот вам, товарищи, и факты. А ты сядь, пожалуйста. Нам говорят, и это зафиксировано документально, что двадцать шестого числа прошлого месяца забойщик Титико Каричашвили, знаете такого — приятеля Каимамишвили? — выполнил личный план по выработке угля на 187 процентов. Возможно ли это? Возможно! Можно привести и более высокие показатели. Но вот вопрос: если Каричашвили выполнил план по отбойке на 187 процентов, крепильщики, которые крепили участок Каричашвили, тоже ведь должны были перевыполнить свой план? Безусловно, должны

были. По-другому и не могло быть. Более того, это такое дело, что одному крепыльщику с ним и не справиться. Но на этом участке в тот день кроме Чейшвили никто не работал, да и тот выполнил план свой всего на 101 процент. Как же это получилось? Но допустим, что то, что он выработал сверх плана, в процентах приписали другим, последующим дням. Такое тоже возможно. Но тогда в ту ночь из склада должны были быть затребованы дополнительные лесоматериалы. Их надо было свезти вниз, подготовить, поставить. Я проверил досконально все это, товарищи. Правда лучше всего. И вот что я выяснил: в тот день из склада никто не требовал дополнительных лесоматериалов, а в забой ни одна лишняя стойка не вносилась. Итак, все очень просто объясняется: никаких 187 процентов Қаричашвили в тот день не вырабатывал. Хорошо, если выполнил свою норму. Этого никто не знает. Қаймамишвили же из выработанного другими забойщиками, с каждого по два, три, четыре процента вычел и приплюсовал к показателям Қаричашвили. А как это называется, вы не знаете?

Ответом ему была мертвая тишина.

Никто не ждал подобного хода от Джибраила. Когда он успел все это перепроверить?! Вот что значит, человек знает свое дело!

Қаймамишвили и его дружкам возразить было нечего. Они явно растерялись и хранили упорное молчание. Сторонники же Джибраила поняли вдруг, что это собрание окончится не обычным скандалом, а их полной победой, поскольку Джибраил, как видно, здорово подготовился к решительной схватке. Тариэл Гогисванидзе и Бикенти Джариашвили, переглянувшись, с облегчением вздохнули. А Ясон Хурцидзе с такой гордостью тарачился из президиума, словно это он, а не Джибраил, разоблачил негодяев.

— Но это еще не все, товарищи! — продолжал между тем Джибраил. — Я могу привести множество примеров замалчивания правды, мошенничества, лжи. Но ограничусь только двумя. План на участке выполнен на 104 процента. Это неплохо. Но почему большая часть добытого угля падает на нижний забой? Может быть, там лучше условия, чем в верхнем? Нет, но по какой причине это происходит вы все хорошо знаете:

«рекордсмены» участка работают в нижнем забое. Я сейчас не хочу говорить о маркшейдерах, они народ знающий и не мне их учить, но, на мой взгляд, им следует проявлять большую бдительность. Ложь и неправду не спрячешь, и чем скорее выявишь, тем лучше. Главная беда нашего участка, товарищи, в том, что общие показатели, общие цифры у нас хорошие, но если заглянуть за эти цифры, ой как много неприглядного, Каимамишвили делит коллектив на избранников, которые присваивают себе результаты чужого труда, и простых смертных, которых грабят—одних в большей степени, других в меньшей, дело не в количестве, а в самом факте. Эти безобразия надо прекратить. Других претензий к Каимамишвили у меня нет.

— И без того достаточно!

— Ей-богу!

— Хуже не придумаешь!

— Можно привести еще примеры!

— Достаточно!

— Ну и выдал правду-матку!

— Молодец, Джибраил!

Когда Джибраил спускался с трибуны, в конце зала внезапно раздался шум: забойщик Титико Каричашвили покинул собрание и с грохотом захлопнул за собой дверь.

— Обиделся!

— Когда чужое присваивал, тогда не было обидно!

— Скатертью дорожка!

Ясон Хурцидзе взялся за колокольчик.

— Товарищи, тихо, слово предоставляется начальнику шахты.

Все уставились на Арчаидзе. Кацриэл не вставая произнес:

— Мне что-то непонятно... Хелтуплишвили сказал, что показатели на участке хорошие. Но если здесь царит обман, ложь, если замалчивают правду и все такое, откуда хорошие показатели?

— Это вы прекрасно знаете! — раздалось из зала.

— Не надо играть в простодушие, батоно Кацриэл!

— Спросите Каимамишвили, он вам объяснит.

— Работаем, вот вам и показатели!

Кацриэл поднялся, махнул рукой и вышел из зала.

Но Каимамишвили не собирался складывать оружие. Слово взял Ардалион Качеишвили.

— Получается, будто Каимамишвили все на свете портит, а Хелтуплишвили — наоборот, налаживает. Но если это так, почему Каимамишвили забрасывают наградами и премиями, а Хелтуплишвили, вы все это хорошо знаете, — выставили с его участка? И кто выставил? Это вы тоже знаете! Ни кто иной, как Сардион, да, да, Сардион! А Сардион сегодня управляющий трестом. Если бы он не разбирался в людях и не знал им цены, он не поднялся бы до управляющего. Да... Одним словом, моего у меня никто не отнимет!

И сошел с трибуны.

— А кто у тебя отнимает твое?

— Ты чужого не трогай, вот о чем разговор.

— Известно, что ты за фрукт, своего не отдашь, это точно!

— Вспомнил Сардиона!

— Нестора Бубашвили грабить — это же свинство!

— Подонки!

Долго еще бушевало собрание. На трибуну поочередно поднимались то сторонники Джибраила, то приспешники Каимамишвили. Под конец стало ясно, что первые одержали победу. В заключительном слове Каимамишвили пробормотал что-то насчет того, что учтет все замечания, высказанные в его адрес, и мошенничеству и обману отныне будет положен конец. Участникам собрания так понравились эти слова, что они даже захлопали ему.

Далеко за полночь кончилось собрание. О Дурмишхане Зенаишвили на нем не было произнесено ни слова.

* * *

Джибраил одержал победу. И на следующий же день начались его мучения. Каждый шахтер, недовольный тем или иным распоряжением или приказом Каимамишвили, считал должным обращаться к Джибраилу с жалобой или за поддержкой — «смотри, какое задание он дал мне, разве его можно выполнить?». Раз за три Джибраилу, не чувшему под собою ног от усталости, пришлось снова спускаться в шахту, чтобы

проверить, правильны ли распоряжения Каимамишвили. Во всех трех случаях они оказались верными, но шахтеры и не думали выполнять их, пока не получали подтверждения Джибраила. А однажды ночью Джибраилу домой позвонил начальник ночной смены и доложил, что на участке Мелентия Джариашвили кровля держится на честном слове, и Мелентий отказывается работать.

— При чем тут я?

— Да так, на всякий случай знай. Утром мы скажем Каимамишвили, что согласовали этот вопрос с тобой.

И так — день ото дня. Начальником участка все еще числился Каимамишвили, и, говоря по правде, работником он был неплохим, но подавляющая часть шахтеров тем не менее больше доверяла Джибраилу. И никто не знал, как долго это будет продолжаться. Кацриэл Арчаидзе, оказывается, как-то даже сказал, что будь у Джибраила диплом, он пожертвовал бы Каимамишвили и назначил на его место Джибраила, но у него нет даже аттестата зрелости: сделай он такого человека начальником участка, Дамианэ Чкониа тут же заставит снять его.

Вообще Кацриэл Арчаидзе очень изменился по отношению к Каимамишвили и близко к себе уже не подпускал.

В шесть часов вечера раздался телефонный звонок. Трубку взяла Иринэ. Просили Джибраила. Иринэ без слов протянула трубку мужу.

— Джибраил, ты? — Джибраил услышал голос Митуши Каимамишвили.

— Я.

— Почему тебя не было на работе?

— Возникло неотложное дело. Я же предупредил.

— Знаю. Дело не в этом. Будь человеком, бросай все свои дела и приезжай на участок.

— Что все-таки случилось?

— А то, что этот Мелентий Джариашвили уперся как бык, и ничего не хочет делать — кровля, говорит, ненадежная. А кровля — что зеркальная гладь. Мелентий долдонит одно и то же: пусть скажет свое слово Джибраил. Я пытаюсь втолковать этому ненормаль-

ному, что ты не обязан работать по три смены кряду, что ответственный на участке пока еще я и пусть изво-
лит слушаться меня! Но куда там! Будь человеком
приезжай и рассуди нас, а потом забирай этот участок
к чертовой матери, мне ничего не надо, пусть все за-
бирают. Только сейчас не отказывай, прошу тебя.

— Откуда ты звонишь?

— Я на главной шахте. У депо.

— Сейчас приеду, — Джibraил положил трубку
на рычаг и тяжело вздохнул.

Иринэ стояла в дверях и выжидательно смотрела
на мужа.

— Должен на шахту ехать?

— Да.

— И дня не могут прожить без тебя?

— Видимо, не могут.

Каимамишвили действительно ждал Джibraила на
главном штреке у депо. Они быстро спустились в забой.
Мелентий Джариашвили стоял, опершись о пневматиче-
ский молоток, и действительно не помышлял о работе.

Светя себе фонарем, Джibraил внимательно ос-
мотрел потолок. В одном месте он действительно за-
метил длинную, извилистую и тончайшую, как волос,
трещину, но в целом кровля все же внушала доверие.

— Что тебе не нравится, Мелентий? Джibraил
наконец опустил фонарь.

— Кровля...

— Она в порядке.

— А эту трещину видишь?

— Ну знаешь, если на такое...

— Такая вот трещина и сгубила Кереселидзе. В
прошлом году и в это же время.

— Ну... на шахте всякое случается.

— Ты утверждаешь, что эта кровля надежная?
Ладно, — вздохнув, Мелентий взялся за молоток, —
раз ты говоришь...

Через минуту все потонуло в грохоте — Мелентий
включил свою машину. Он был отличным забойщиком.
Из слоя на почти двухметровой высоте пошел уголь
большими кусками, отливающими серебром.

Джibraил и Каимамишвили отправились наверх.

— До каких пор это будет продолжаться?! — по-

среди штрэка Каимаишвили остановился, сложив руки на груди.

— Откуда мне знать.

— Клянусь памятью отца, сегодня же сдал бы тебе участок. К черту его, но тебя ведь не назначат на мое место.

— Знаю.

— Что же делать?

— Понятия не имею.

— Попрошу Арчаидзе, чтобы подыскал мне замену.

— Не советую.

— Почему?

— Потому что... В тебе есть хорошие задатки. Ты, правда, кое в чем дал маху, вот и расплачиваешься... Но эта дурь у ребят пройдет, и все образуется, вот увидишь. Только гони прочь этого Зенаишвили.

— И до него докопался?

— И до него. Ну пока.

— Бывай!

На другой день Джибраила вызвали в отдел кадров. Он только что принял душ после работы и переодевался. Ясон Вашакмадзе встретил его с распростертыми объятиями:

— Честный человек нигде не пропадет, Джибраил! Там тебя сняли, здесь выдвигаем. Поди сюда! Вот приказ: с завтрашнего дня ты — заместитель Каимаишвили. Ни слова! Ничего не хочу слышать. Дамианэ Чкониа мы уломаем. Куда девается нынешний заместитель? Пусть это тебя не волнует. Мы можем ошибаться иногда, но не такое уж мы дрянцо. Ни слова! И без того ты здесь днюешь и ночуешь. Да и участок по твоей указке действует. Все, кончили!

Он сунул Джибраилу в руки копию приказа и, взяв свою палку, встал и проводил его до двери.

* * *

— Все еще раздумываешь?

— Поздно раздумывать, приказ на руках.

— Чего ж ты хочешь?

— Уж и задуматься нельзя?

— О, это пожалуйста.

Джибраил и Митуша сидели в ресторане в отдельном кабинете. Джибраила затащил сюда Митуша, который встретил его, когда он вышел из отдела кадров, и не отстал до тех пор, пока Джибраил не согласился пойти с ним.

— Тебя не удивило твое новое назначение?

— Удивило.

— Еще бы! Ты бы видел Арчаидзе, у него лицо перекошилось, когда он узнал об этом. Мы, говорит, с ним не сработаемся, но я его убедил в обратном. Два дня убеждал.

— А почему ты уверен, что мы сработаемся?

— Ты плохо работать не умеешь, но...

— Что — но?

— Не надо сейчас об этом. Если мы не сработаемся, один из нас уйдет. Мир велик. Мне лично надоело болтаться под землей. Ничего хорошего. Ладно, поговорим о другом. Одно только знай, Джибраил, с нашими ребятами не стоит цапаться и грызться. Эх! Ошиблись однажды и пошло-поехало. Не думали, что станем такими неразборчивыми в средствах, ей-богу! Сейчас они будут выполнять то, что мы им скажем. Человеку много не надо: лишь бы семья была сыта, не правда ли... А рекорды... если кто-нибудь действительно расшибется в лепешку, какой сукин сын... Нет, как другие работают, так и они будут работать. Слышал, что предлагает Николай Мамай, — пусть каждая смена вырабатывает сверх плана тонну угля. Как-во, а?

— Неплохо.

— Так и будем работать. Согласен?

— Это зависит от тебя и твоих «рекордсменов».

— Не напоминай мне о них. Так, согласен?

— Но... некоторых ты здорово развратил.

— Я отвечаю за них — исправятся.

— Нелегко это будет сделать. Трудно отступить от того, что вчера подписывал.

— Но ты же будешь рядом?

— Для этого меня выдвинули?

— Пожалуй.

— Ха-ха-ха!

Дня через три выяснилось, что Джибраилу и Митуше все же следовало опасаться Дурмишхана Зенаишвили.

Кровля в верхнем забое осела. После этого прошли два цикла. Накануне проходчикам было приказано подготовить все необходимое для открытия запасного выхода, но не производить взрыва до особой проверки. Взрыв был назначен на начало работ второй смены.

В тот день в десять часов утра Джибраил и Митуша спустились в шахту. Они прошли по главному штреку километра три, не встретив ни одного человека. Митуша был явно не в духе, шел как бы нехотя. У конвейерного штрека он остановился, снял каску, вытер потный лоб и как-то странно улыбнулся Джибраилу.

— Что с тобой? — Джибраил был удивлен.

— Нет, ничего... — быстро ответил Митуша, — что может быть со мной... Только... Ты этого меднолобого давно не видел?

— Какого еще меднолобого?

— Зенаишвили.

— Нет, не видел.

— Два дня, как его на участке не видно.

— Ну и что?

— Нет, ничего, — Митуша вдруг махнул рукой и первым полез в конвейерный штрек.

Вскоре они поднялись в забой. Вокруг ни души. Шли плечом к плечу. Только свернули чуть вправо, где должны были открыть запасной выход, как Митуша остановился и осветил лампой пласт угля.

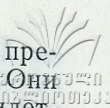
— Что это?

Джибраил повернулся к нему и посветил своей лампой. Но прежде чем они поняли в чем дело, раздался оглушительный грохот. Глыбы угля, пустой породы, осколки, пыль, вода — все это, перемешавшись, рухнуло вниз.

* * *

Случилось так, что Мелано и Мзевинар на третий день после своего приезда должны были уехать обратно в Тбилиси.

В тот вечер Теймураз вернулся с работы уставший. Шахтеры второй и третий смен повздорили



между собой. Третья смена предьявляла второй претензию: почему не спущена вниз врубовая машина. Они по-своему были правы — на спуск машины им придется затратить часа два, не меньше, и план останется невыполненным. Но у второй смены было оправдание: проклятая кровля немилосердно скрипела, они продвигались вперед пядь за пядью, и времени на спуск машины у них не осталось. Пока Теймураз уладил этот вопрос, пробило двенадцать. А шахтеры были так раздражены, что почти не слушали его, затем надо было закрывать табель, искать монтажников... Теймураз вернулся домой, чувствуя разбитость во всем теле. Дома к этому прибавилось ощущение страшного одиночества. Он рухнул на кровать и не успел передохнуть, как в дверь осторожно постучали, «Неужели она?». Он бросился к двери и открыл ее. На пороге стояла Гогола.

На ней было розовое платье. Она выглядела чуть похудевшей. Под глазами, вокруг губ и на шее наметились морщинки, поэтому Гогола казалась чуть старше, чем до отъезда в отпуск. Но глаза по-прежнему голубые, ясные, на плечах рассыпаны отливающие медью густые волосы.

Сердце у Теймураза застучало. Он невольно сделал шаг назад. Гогола, чуть улыбнувшись ему, спокойно притворила за собой дверь и направилась прямо к стулу. Села, поправила платье, провела рукой по волосам.

Как прекрасна была она в этот момент, безмятежная, уверенная в себе!

Утром Теймураз, не скрываясь, проводил ее до ворот и долго смотрел ей вслед, пока она не завернула за угол. Улица была безлюдна. Теймураз не знал, каким будет супружество Гоголы и Чапичадзе, или как долго продлится оно, в одном он был уверен — эта женщина к нему никогда не вернется.

Через неделю на участке Теймураза случилось чрезвычайное происшествие.

Было девять часов вечера. Теймураз, Гриша Одыбашев и забойщик Бесик Хелашвили в конце забоя ждали подрывников. В это время снизу примчался запыхавшийся, перемазанный в саже Архипо Цалуглишвили. «Кровля в центре лавы оседает!» — крикнул



он. Теймураза бросило в жар. До начала смены Ушанги Монаселидзе предупредил его, что кровля ему не нравится, но Теймураз, привыкший к излишней осторожности Ушанги, не придал особого значения его словам. Правда, он все-таки осмотрел кровлю, но ничего опасного не нашел.

— Говорю тебе, кровля садится, — от волнения Архипо осип.

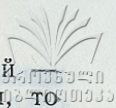
— Почему он...

Не успел Теймураз договорить фразы, как шагах в пятнадцати от них раздался страшный грохот и рухнула кровля, которая совсем недавно выглядела такой, что никто не усомнился бы в ее прочности и надежности.

Забой как бы раскололся надвое. Наверху остались Теймураз, Одыбашев, Архипо и Бесик Хелашвили, внизу — человек двадцать пять, почти вся смена, а между ними — обвалившаяся кровля. Тем, кто был внизу, опасность не грозила — в любой момент они могли выйти в главный штрек.

А вот Теймуразу и находящимся с ним податься было некуда. У того места, где они стояли, находилось отверстие, узкое, приблизительно в сорок сантиметров шириной. Щель длиною в пять метров вела в вентиляционный штрек, но она была неукреплена и проникнуть через нее в вентиляционный штрек не представлялось возможным. И вниз им не было пути — под ними в беспорядке устрашающе повисли глыбы пустой породы. Достаточно было малейшего толчка, дуновения ветерка, чтобы этот кажущийся покой был нарушен.

Четверо застряли в обрушившейся лаве — это известие как громом поразило весь город. Очень скоро шахтный двор, главный штрек, подступы к лаве, ее нижняя часть были полны народом. Кахабер Гурасашвили и Гедеон Хазарадзе, Сардион Рачвелишвили и Дамианэ Чкониа, члены горноспасательного отряда, шахтеры с других участков хлопотали здесь, отдавали распоряжения, обнадеживали друг друга... Выход был один: те четверо как-нибудь должны были выстоять, пока не укрепят свод. Еду и воду поначалу думали подавать на длинных железных шестах либо сверху, через воздушную щель, либо как-нибудь снизу. Но и тот и другой способ мог оказаться роковым для по-



терпевших бедствие, поэтому на еду махнули рукой, как-нибудь обойдутся без нее, что касается воды, то в сырой шахте потребность в ней не так велика. Гедзон Хазарадзе моментально составил план укрепления свода в забое, и спасатели с крепильщиками тут же приступили к делу.

Несколько часов спустя выяснилось, что спасательные работы займут самое меньшее двое суток — авария была слишком серьезная, к тому же в любой момент кровля могла надуться пузырем в другом месте. Крепильщики диву давались, на чем только держатся эти глыбы. Дело, как говорится, продвигалось черепашьям шагом. Прошло десять часов, прежде чем установили первую пару рудстоек и укрепили нижнюю часть обвалившегося купола.

Спасателей от потерпевших разделяло небольшое расстояние — метров десять—двенадцать, и они прекрасно слышали друг друга. Когда прошел первый испуг и крепильщики установили еще одну пару рудстоек, шахтеры наконец свободно вздохнули и, как это часто бывает в таких случаях, пришли в веселое настроение. Ираклий Шубитидзе, установив последнюю стойку, сполз с нее весь в поту и, сложив ладони рупором у рта, крикнул:

— Э-гей, Архипо!

— Эге-ей! — раздался в ответ чуть приглушенный голос.

— Как дела-а?

— Хорошо!

— Как там наш начальник?!

— Как бо-ог, бо-ог!

— Потерпите еще немного!

Ираклий вытер пот со лба и проворчал:

— Так я тебе и поверил, что тебе хорошо сейчас там.

Все вокруг рассмеялись.

Потерпевших вызволили только на третий день. Нижняя часть забоя, где кровля уцелела, была полна народу, но царила такая тишина, что можно было бы услышать полет мухи. Дамианэ Чкониа и Сардион Рачвелишвили запретили кому-либо, кроме спасателей, соваться наверх. Спустя какое-то время появился наконец слабый свет. Спасатели вели под руки обессилев-

шего от голода и усталости Архипо. Потом вывели Бесика Хелашвили, за ним — Гришу Одыбашева. И Дамианэ, и Сардион, и Кахабер, и Геденон — все отметили про себя, что последним покинул место аварии Теймураз Арджеванидзе.

Начальство недолго совещалось в кабинете Кахабера. Всем было ясно: это — авария, которую никто не мог предвидеть. Теймураза Арджеванидзе ни в чем не винули. Более того, сам Дамианэ, а его слова чего-то стоили, сказал: попомните меня, из этого парня получится настоящий шахтер. Но акт все-таки составили. Потом Сардион потрепал по плечу Кахабера — не так-то легко, мол, будет выполнить план, да ничего не поделаешь. И собирались расходиться, как в кабинет вошла Маргалита Хецуриани. Она выглядела растерянной, в руках у нее был лист бумаги.

— Что это?

Маргалита без слов протянула бумагу Кахаберу.

Кахабер пробежал ее глазами, и на лице его отразилось недоумение. Схватившись, он протянул лист Геденону. Тот прочел и, не скрывая своего изумления, стал вертеть его в руках.

Это было заявление Теймураза Арджеванидзе, он просил освободить его от должности начальника третьего эксплуатационного участка и назначить начальником любой смены на том же участке.

Перевод Д. ВЛАДИМИРОВА



Спеть ли кому?..

Нам ли вмешаться в творчество осени,
В труд, сочетающий крайности вечно?
Кто, как ноябрь, таинственным способом
Сделает утро похожим на вечер?

Спеть ли кому, чтобы напоминала так
Песня и плач, и напев колыбельный,
Переплетая в каждой тональности
Радость и горести, беды — с победой?

Стынут стволы, морозом прихвачены;
Это ноябрь, листвою натешась,
Круг замыкает холодом. — Значит ли,
Что не согреет уже и надежда?

Солнце ли, в тучах прячась, прощается,
Землю оставивши в оледененье,
В сумрачном свете тьма ли сгущается —
В смерти угадывается рожденье.

* * *

Вот ноябрь в меня
Листья желтые бросил...
Все в году времена
Не заменят мне осень.

По земле расплескав
Огневые потоки,
Поджигая леса,
Она вечно в дороге.

Рвется сердце мое
Вслед, забыв о покое,

Узнавая ее
Колдовство роковое:



Чуть янтарным крылом
Прикоснется в полете —
Жизнь, сдаваясь с трудом,
Из живого уходит;

А дохнет — седина
Серебром травы тронет;
Даже солнце она
На край света загонит.

Там, где, медля, манит,
Отражаясь водою,
Я, колени склонив,
Ее златом омоюсь,

Вдруг поняв — это сон,
Что на краткое счастье
Я сюда занесен,
Что пора возвращаться.

И ноябрь в меня
Листья мертвые бросит...
В жизни все времена
Заменила мне осень.

* * *

Коли тебе не улыбался мастер,
Кивнув, не говорил, что стих прекрасен
(Где ты в успех и верить позабыл),
И сердце не щемило вдруг от счастья;

Коль ты тропу не пробивал во мраке
И, честно обнажая душу, в страхе
На божий свет ее не выводил,
Коль воду ты толок да ползал в прахе;

Коль чувствами питался без отдачи,
А кровь холодной оставалась, — значит,
Живой души ты в слово не вдохнул,
Жить обречен с невысказанным плачем.

И что теперь вокруг глядеть с обидой,
По крохам жизнь поразбросав в избитой
Той суете? — Один лишь круглый нуль
Счет только и ведет благам добытым.



Ведь ни с иконой, ни с заемным светом
Тебе не сделать образ твой заветным,
Коли своим могильным камнем бедным
Не натрудил ты спину и не сбил.

Перевод В. КАЗАРОВА

ВЕЛИКОМУ ПИСАТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Торжественным заседанием в Большом зале Грузинской государственной филармонии завершаются юбилейные торжества в Грузии, посвященные 150-летию со дня рождения великого сына грузинского народа, выдающегося писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе. Оно пройдет в Тбилиси во второй половине октября.

Сообщение об этом было сделано на заседании Республиканской юбилейной комиссии по празднованию 150-летия И. Чавчавадзе под председательством первого секретаря ЦК Компартии Грузии Д. И. Патиашвили.

С информацией о ходе подготовки к торжествам выступил председатель правления Союза писателей Грузии Г. Цицишвили, секретарь Тбилисского горкома Компартии Грузии Н. Лагидзе, первый заместитель председателя Госкомиздата республики Э. Сихарулидзе, начальник Главного научно-производственного у-

правления по охране и использованию памятников истории, культуры и природы при Совете Министров Грузии И. Цицишвили, председатель Госкино республики А. Двалишвили, секретарь правления Союза писателей Грузии Дж. Чарквиани, вице-президент Академии наук республики Г. Джибладзе, директор Музея дружбы народов В. Жоржолани и другие.

На заседании комиссии отмечалось, что подготовка к юбилею стала свидетельством всенародной любви и признательности к великому писателю, просветителю и обществу деятелю. В рамках юбилейных мероприятий пройдут выездные заседания секретариата Союза писателей СССР, объединенная научная сессия Академии наук Грузинской ССР, Тбилисского государственного университета, Музея дружбы народов и Института грузинской литературы имени Ш. Руставели. Состоит международная конференция писателей на тему «Судьба современной цивилизации и мировые литературы».

Из цикла «Современные песнопения родине»

I.

В полет душа уйти смогла.
Покинул сон.

Умолкла песня.

Лучом у твоего окна
стою сама я —

бессловесна.

Пошли мне силу ощутить
твое тепло и в отдаленье,
не видя глаз твоих,

хранить

вершин твоих прикосновенье.

Они, как смерть, не выдают
своей неуловимой тайны,

и будоражат, и зовут,
и прикасаются случайно.

Как удержаться на земле,
когда душа готова взвиться
на фантастическом крыле,
и нету сил

остановиться?

II.

Дождь - серебро

собирает июльские звуки,

сердце полно

твоим солнцем и непониманьем.

Не уставая, снуют

мои белые руки

И отражают
излишне горячее пламя.
Скоро ль жара утолится
и выпадут ливни?
Словно бы дождь,
я пройду по сентябрьским ступеням,
будет во мне
остывающий ропот предзимний,
да еще страх, что ничто
мне тебя не заменит.

Песенно, чисто
прольется поток величавый...
Дождь - серебро
разольется серебряной лавой.

III.

Ожерелье из ветров!
Трубный дым в тебя волеется,
Твой июль свивает в кольца
Отчужденное тепло.

Вот душа моя.

Бери!

Ведь тепло мое живет:
От ладоней ожерелье
Из ветров —
вокруг земли.

IV.

Я пройду сквозь огни —
обагрят меня пламя,
мои руки прильнут
навсегда к тебе, мать и земля,
а вода твоих недр
вдруг посмотрит моими глазами,
отразившими все
и вобравшими много в себя.

Будет первый мой крик —
голос тихой печали,



041935340
2022010033

станет снегом второй,
ну а третий мой крик — о земле!

Я пройду сто дорог,
чтоб соблазны мои замолчали.
Только ты, мать-земля,
сохранишься нетленно во мне.

Из цикла «К Абхазии»

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Легенды, явь или грядущее —
вы мой источник преклонения.
Зовет ли прошлое

иль сущее —
обречена на возвращение,
чтоб видеть доли бесконечные,
где жизнь и свет соединяются
в зеркальном блеске моря вечного,
как небеса, переливаются.
Прийти сюда волною бурною,
прильнуть к отрогам светокаменным
и молчаливо ночью лунною
все беды сжечь в сердечном пламени.
В село вернуться обновлением,
к волненьям, тихим сном навеянными,
и расцвести порой весеннею,
припасть к земле дождем серебряным.
Вернусь! Так мать стораает жаждою
увидеть сына в миг прощания.
Вернусь. Я верю — сердце каждое
вернется солнечным сиянием.

Перевод Натальи ДАРДЫКИНОЙ



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Рассказ

ПРОСНУЛСЯ он в плохом настроении и долго еще лежал с закрытыми глазами, думая об отце... и детях, из-за изгороди наблюдавших за ним, когда он приехал. «Худо старику...». Эта мысль всплыла в его сознании в первый же миг пробуждения.

...Едва Гаги открыл калитку, как увидел немого — его увядшее тело торчало, словно палка нищего, посреди двора. Замерев, он, казалось, прислушивался к тишине, заключенной в собственном теле. При виде Гаги старое, изборожденное морщинами лицо его оживилось, водянистые глаза застыли в удивлении и радости, он как-то странно повел худыми плечами и заскулил, махая руками, призывая старика разделить с ним радость.

Гаги издали поднял руку, успокойся, мол. Признаться, он был несколько сконфужен такой встречей — отвык от мысли, что его ждут.

Немой не унимался, яростно размахивал руками, прыгал и так жалобно скулил, что сердце разрывалось.

— Чего раскудахтался? Что на тебя напало? — послышался с балкона сердитый голос скупого на слова старика, и следом появился он сам. При виде сына смолк и уже не сердился на немого, который бегал вокруг лаврового дерева. Старик стоял, прислонившись к столбу, растерянно проводил ладонью по седой голове, смотрел на Гаги, недоуменно наблюдавшим за немойм, и молча, всем своим видом как бы говорил, что все происходящее здесь вовсе не касается Гаги, что он пришел сюда и уйдет отсюда гостем.

Тогда Гаги подумал, что отец постарел. Видать, нелегко ему, ведь прежде он никогда не позволял себе разговаривать с немой так грубо. Когда во время пожара погибли жена и ребенок соседа, а сам он лишился речи, старик приютил его, и немой стал членом их семьи. Он не раздражал старика. Теперь же... «Да, трудно старику...» — вновь подумал Гаги.

Наконец немой перестал бегать вокруг лавра и замер на месте, переводя взгляд с отца на сына. Взгляд его выражал то, о чем у Гаги не нашлось времени подумать, а может быть, он намеренно избегал этих мыслей, не хотел смотреть правде в глаза. А правда заключалась в том, что его, Гаги, уехавшего в поисках счастья из отчего дома, нигде не стали бы ждать с таким нетерпением. И тут Гаги заметил прильнувших к ограде детей, они разглядывали его с нескрываемым любопытством, словно он был чужеземцем или даже гуманоидом, прилетевшим с другой планеты.

Его раздражал их упорный, настойчивый интерес, он чувствовал себя заключенным, которого заперли в камере, наблюдая его повадки, точно он диковинный зверь. Ему это не нравилось, он хотел остаться незамеченным, скажем, как камушек под плющом, и естественным образом слиться с окружающим. Он мечтал о том чтоб немой мог говорить, тогда он отогнал бы этих назойливых детей — убирайтесь! Чего уставились, человека не видели, что ли!

А за изгородью кто-то радостно произнес:

— Гляди-ка, на меня смотрит!

Говорила девочка.

— Ты самая красивая, вот и смотрит. Ну, у кого еще такие золотистые волосы?

Вслед за этим послышался смех. Гаги только сейчас заметил девочку — в просвете между прутьями виднелся ее носик и один глаз, ну самая настоящая обезьянка! Будь у Гаги нервы в порядке, эта картина наверняка показалась бы ему забавной.

Но ведь яснее ясного, что у Гаги нервы на пределе. Казалось бы, он выспался, однако с трудом оторвал себя от постели, подошел к занавешенному окну, выглянул. Тени от стоящих рядышком ореховых деревьев не лежали посреди бегущей от калитки тропинки, а это означало, что было уже за полдень. В детст-

ве Гаги любил наблюдать за тем, как двигаются тени, удивлялся, почему они не сливаются, почему ползут отделенные друг от друга небольшим расстоянием. И куда исчезают, когда солнце достигает зенита?

Именно там, куда обычно падала тень одного орехового дерева, стояли гости. Один, в клетчатом пиджаке, сказал старику, что он из нижнего села и представил второго. Потом стал оживленно и пространно объяснять, что хочет добра этому уважаемому и порядочному человеку, потому и приехал с ним, а вообще-то он его не знает, видит впервые, но в таком деле человеку надо помочь, ведь всех нас ждет смерть, никто не вечен под этим небом. Второй молча кивал головой, доверяясь посреднику. Он косил и смешно тарашил глаза, подтверждая слова мужчины в клетчатом. И вдруг заговорил:

— Короче, вот в чем дело, все катимся и катимся назад... Больше приходится жалеть не покойника, а того, кто должен его хоронить... Да-а, умирают близкие люди, не успеешь оглянуться, а кто-то уже отошел в мир иной. Только оплачешь одного, а тебе уже сообщают о новом несчастье — у одного инфаркт, у другого — цирроз, этот умер после операции простаты, у того лопнул желудок. Понимаю, когда лопаются слепая кишка, на то она и слепая... А как может лопнуть желудок: ешь, сколько можешь, умный человек не умрет от обжорства! Покойнику что, лежит себе и в ус не дуется, а достается живому, тому, кто хоронит... Легко сказать, взвалить на себя такую ношу...

Он замолк, взглянул на мужчину в клетчатом пиджаке, как бы говоря: ну что, разве я не прав; потом снова повернулся к старику.

— У кого только я ни был, какое только вино ни пробовал — не понравилось. Говорят, у тебя не вино, а напиток богов. Вот этот человек не поленился, пошел со мной, дай бог здоровья его близким... Для покойника хочу вино, честный был человек, трудяга, помянуть его надо настоящим вином, торговаться не стану, сколько скажешь, заплачу.

Старик терпеливо слушал.

— Ну что скажешь? — вступил в разговор мужчина в клетчатом пиджаке. — Перекрестись и назови цену, иначе этот человек пошлет моих близких кое-куда,

не знал, мол, к кому ведешь? Я ведь и прежде приходил, помнишь?

— И что?

— Как что?

— Я дал тебе что-нибудь?

— Ни шиша, — осклабился гость. — Наотрез отказал и выпроводил.

— А что могло измениться сегодня? — спросил старик.

— Не знаю... — пожал плечами мужчина в пиджаке, — попытка — не пытка. Он мне не кум и не сват, но почему не помочь человеку!.. Что ты теряешь, продай вино и возьми хорошие деньги.

— Здесь все знают, что я не продаю... и не продавал никогда... Парня мне женить надо, не бегать же мне потом за вином к другим.

— Не надоело тебе твердить об одном и том же? — по-домашнему, как близкий человек, сказал мужчина в клетчатом пиджаке.

Гаги вывела из себя бесцеремонность гостя, он чуть было не высунулся в окно и не заорал во весь голос: «Чего пристали, уходите!». Но сдержался, замер за окном, чтоб услышать, что же все-таки скажет отец.

Отец промолчал. Косой повернулся, покачиваясь, пошел к калитке, но, пройдя несколько шагов, обернулся, вероятно, намереваясь что-то сказать, но то ли передумал, то ли не собрался с мыслями, махнул рукой и пошел к калитке. Мужчина в пиджаке поплелся за ним.

Старик смотрел им вслед со странно окаменевшим, ничего не выражающим лицом, объятый необъяснимым равнодушием, граничащим со стыдом — то ли от сожаления, что не смог воздать должное смерти, храня вино для праздника, то ли от тщетности ожидания. Вон что пришелец сказал, не надоело, мол, тебе твердить одно и то же... В какой-то миг ему показалось, что эти заботы он сам и придумал для себя.

А те, кого он отправил не солоно хлебавши, шли по тропинке, и песок шуршал у них под ногами.

Глядя на эту картину, Гаги думал, что возвращение домой человека, растратившего себя, пытавшегося обрести счастье в чужом краю, — второе его рождение; удивлялся тому, как неожиданно стерлось время и исчезло расстояние от юности до сегодняшнего дня,

от этого дома до его теперешней жизни. Почему в эту минуту ему кажется, что он не уезжал, не покидал отчего дома, старого отца, который из года в год хранит вино для его свадьбы? А он живет вдали от дома, по своим меркам и канонам, со своей правдой и ложью, со своей совестью и маленькими радостями. Устраивает свои дела (смешно!), занимает место в обществе, пытается привыкнуть к столице, стать ее органичной частью, знакомится с новыми людьми, ищет друзей, находит и теряет (больше теряет, чем находит), короче, самоотверженно пытается привиться на чужом сучке. Потому-то и швыряла его столь безжалостно жизнь! То ему казалось, что провинциальность его проявляется в недостаточном знании русского языка, то — в излишней доверчивости, граничащей с наивностью, то — в поисках правды, которым позавидовал бы сам Дон-Кихот, то в диалекте, от которого он так и не избавился, который так разительно отличался от городского говора. Трудно найти название тому, что беспристрастной улыбкой на лицах горожан отторгало его, не то, чтобы отнимало у него надежду, нет, скорее предупреждало о том, что он — чужак и не вписывается в тот естественный, веками устоявшийся уклад, который зовется бытом города.

И все-таки он пытался освоиться, из ничего придумывал собственную жизнь, переносил из квартиры на квартиру убогий скарб, состоящий из постели, старого чемодана и связки книг. Как часто, проходя по главному проспекту города, он думал о том, что даже в осанке тех, кто здесь родился, чувствуется их происхождение, довольно одного взгляда (даже со спины), чтоб убедиться в этом. Так и есть, дома всегда чувствуешь себя свободнее. А он всегда был чем-то озабочен и нередко, думая о себе, о своем месте в этом городе, доходил до отчаяния. И все же, что помогло ему выстоять? Борьба за то, чтоб быть как можно дальше от отчего дома, своих корней? Он прибегал ко всему, испробовал все, что можно было, стараясь выстоять, и неужели только ради того, чтобы в представлении старого отца быть человеком заблудшим, бессмысленно мотающимся по чужим и далеким дорогам в надежде утвердиться, пусть даже самой дорогой ценой.

А здесь, оказывается, ничего не менялось, здесь бы-

ла частичка и его жизни, более того, даже отсутствуя, он предопределял здешний образ жизни, быт.

Ему стало совестно оттого, что там, в городе что греха таить — он, случалось, не вспоминал отчий дом, ни разу не потеплело сердце при воспоминании о разлитом в задней комнате золотистом свете заходящего за холмы солнца, ни разу уставшая от городского шума душа его не насладились пронзительной тишиной и покоем деревенского двора, ни разу не подумал он: интересно, что делает сейчас отец и хорошо бы написать ему письмо, напомнить старику, что он не одинок на этом белом свете, что сын помнит и думает о нем, что он — неделимая частичка его и где бы он ни находился и как бы ни жил... и так далее, и так далее...

Он почувствовал, как сильно соскучился (не конкретно по чему-либо), а может быть, это было другое чувство, радостно обуревавшее его душу от сознания того, что старик пока живой, что он определяет здешний быт, и стало быть — и жизнь. Эта мысль неповторимой радостью разлилась в его душе, придала окружающему иной смысл. Гаги понял, как много значила для него тихая, несуетливая, мерцающая светильником жизнь старика, который ничего не просил, как не просит у тебя ничего собственное дыхание или полная луна за верхушками тополей, глядя на которую невольно думаешь — достаточно протянуть руку, и ты коснешься ее.

То, что ты чувствуешь, не нуждается в подтверждении. И в оправдании не нуждается. Слова беспомощны... Иначе, почему бы Гаги не сбежать по лестнице к хлопочущему где-то поблизости старику и не сказать ему что-нибудь приятное, сердечное, почему бы, не таясь, не поклониться ему за спасенную жизнь, как поклоняются огнепоклонники своему идолу? Ведь молитва для отчаявшегося — не только ритуал, придуманный для того, чтоб облегчить уставшую и изнуренную душу. В молитве — спасение веры, и Гаги не должен был стыдиться этого, он знал это, разумеется, знал.

Он равнодушно взглянул на перевязанные книги и начал распутывать бечевку. Развязывал механически, как ничего не значащую посылку.

Вошел немой, принес сливы в огромном блюде, незрелые, какие любил Гаги, поставил блюдо на стол, рядом со стопкой книг, улыбнулся, мол, угощайся.

Гаги поблагодарил и вернулся к своему занятию. Он раскладывал книги на полке, не обращая внимания на немого. А тот, не отрываясь, смотрел на книги, и взгляд его выражал удивление — неужели все это ты должен прочитать?

Гаги промолчал, боясь, что немой вновь заскулит. И снова почувствовал, как у него натянуты нервы, ему было тяжело выносить даже самого себя. Он поднял руку, снял с полки книгу, первую попавшуюся под руку, машинально перелистал ее и уткнулся в какую-то страницу.

Немой понял, что он лишний, повернулся и тихо вышел из комнаты.

Гаги распахнул заднее окно, глянул в открывшийся взору простор, на тесно примкнувшие друг к другу сады, лужайки, испещренные кустами шиповника. Из колодца соседская девочка, страдающая эпилепсией, с трудом поднимала ведро с водой. Издалека доносился протяжный, глухой гул электропилы, а внизу, совсем близко, на склоне холма шумели мальчишки. Они о чем-то горячо спорили. Кто-то, доказывая свое превосходство, смачно выругался.

Гаги невольно улыбнулся: совсем еще дети, а ничем не отличаются от взрослых. Когда и почему появляется у человека стремление к не свойственной ему позе, крепнущая с годами уверенность в том, что он способен на большее, на такое, которое не под силу его соплеменникам. Уверовав в это, он невольно становится рабом своего же вымысла. Не так ли рождаются маньяки, мизантропы, расисты, патологические типы, проходимцы...

Потом Гаги стало смешно от того, что детские шалости вызвали в нем подобные ассоциации. Он отошел от окна, отворил старую скрипучую дверь и вышел на балкон. Бесь двор лежал как на ладони, но отца нигде не было видно. По двору ходили куры, поклевывая что-то в траве. Откуда-то выпорхнувший петух подскокил к курочке, и она замерла, настигнутая им.

Гаги спустился, прошел мимо зеленого пышно разросшегося райграса и еще издали заметил лавровое дерево. Они были ровесниками, отец посадил лавр в день рождения Гаги, в его честь, вот почему отец с матерью относились к этому дереву так нежно, шептались с ним,

как с живым, словно это дитя родное. Помнится, ребенком Гаги даже тайно ревновал к нему, ему казалось, что лавр соперничает с ним, отнимает у него преимущество единственного любимого существа. Потом, когда скончалась мать, пустота и боль поселились в каждом уголке дома, один за другим потянулись серые дни и ночи, и тогда Гаги впервые пожалел о том, что лавр не может разделить с ним печаль.

А еще позднее... «Он и вчера разговаривал с твоей матерью», — сказала Гаги соседка, стоя за изгородью и протягивая ему корзиночку с инжиром. — Когда ему тяжело или же в радости, он идет во-он к тому лавру (женщина протянула руку и четырьмя растопыренными пальцами указала на дерево), и если даже мир будет рушиться, он не обернется, пока не вышепчет все, что наболело».

Гаги только недавно приехал из армии и узнал, что его невеста, не дождавшись, вышла замуж за другого. Он не находил себе места, злость подступала к горлу и душила. Ему казалось, что небо обрушилось на него, жить не хотелось, и он удивлялся, что еще живой и не умирает.

Тогда он не придавал значения словам женщины, он лишь подумал: жалеет меня, потому и принесла инжир...

Женщины той давно уже нет в живых, но он воочию представил себе и лопнувший спелый инжир, и четыре растопыренных пальца женщины, и ее прищуренные глаза... Потом вспомнил немого, который, обрадовавшись его приезду, бегал вокруг лавра, и понял, как много значило это дерево (старик не срезал с него ни одной веточки и оно разрослось широко и вольно), ставшее связующим звеном всех времен, свидетелем того, что происходило в доме, схоронившее в своем неподвижном, вечнозеленом существе не скрытую от чужого взора тайну. Течение времени отражалось на лавре все новыми и новыми побегами, он старился под молчаливым небом, в ощущаемых запахах преобразования природы, под бормотанье старика, мерцание светлячков, кваканье лягушек в пруду, в пронзительной тишине клубящего тумана. Старился медленно, тихо.

Гаги смотрел на лавр и внезапно почувствовал к нему отвращение, — в его безмолвном, неподвижном существовании он почему-то увидел свою жизнь. За-

чем ему это двойное существование? Скажем, он вот в эту самую минуту умрет, так что — он все-таки будет жить в этом дереве? Старик будет по-прежнему разговаривать с ним, вызывать с того света сына или жену, заполняя свое одиночество придуманным им самим столь странным спиритизмом. Все это было страшно и неестественно. Гаги понял, что чем больше он думает, тем более тягостные ощущения овладевают им. Следует сейчас же, немедленно остановить вызванную из ирреальности реальность, эту болезненную, почему-то ставшую необходимой ложь, несоразмерную ни с какой правдой. Лучше все оборвать, существование этого дерева ставит под сомнение его собственное существование, казалось бы, убеждает, что подлинное начало именно в этой бездвижной зелени, раскидистых ветвях, в тишине, ставшей причиной его раздумий, а не в полнокровной жизни, которая заключена в его теле.

Он оторвал от дерева взгляд, повернулся и пошел вдоль изгороди, где росли подсолнухи. Здесь стоял невообразимый птичий гвалт, — старик, вероятно, потому и посадил подсолнухи, чтоб в них поселились неумонные птички семейства.

Гаги спустился по склону. Стоял уже вечер, но воздух был неподвижен. Исстрадавшаяся от засухи земля скрипела под ногами. Самое время лазаре¹, подумал Гаги, вспомнив, как босоногими мальчишками увязывались они за женщинами, вымаливавшими у всевышнего дождь.

Солнце стояло на вершине горы, освещая все окрест оранжевым светом. Подсолнухи сникли от зноя, изредка мимо пролетала яркая бабочка или же откуда-то доносился чей-то окрик, возвращая Гаги к детству. Он почувствовал, как неожиданно усилился идущий из детства, нет, не голос, а инстинкт, побуждающий его крикнуть одно-единственное, разделенное на слоги слово — па-па!.. Но он не крикнул.

В конце поля, под финиковым деревом, сидел старик. В ногах валялись ореховые прутья, из которых он плел корзину. Гаги подошел, встал перед ним, глядя на его опущенные плечи.

Старик не поднял головы, продолжал плести, так


¹ Лазаре — ритуальный обряд во время засухи.

старательно закручивая каждый прут, словно от этого привычного движения мозолистых пальцев зависела его судьба. Гаги подумал, что старик, пожалуй, перебарщивает с этим укоренившимся в его плоти и крови крестьянским упрямым молчанием.

Когда старик наконец поднял голову, на Гаги взглянули не глаза его, взглянуло привычное одиночество, вставшее преградой между отцом и сыном. В глазах старика Гаги увидел скорее не смирение, а скорбь, вызванную разлукой. С непреодолимой страстью захотелось ему проникнуть в одиночество старика, в ту таинственную пустоту, куда его влекла не только ностальгия по родству, но и обретенная им свобода, желание хотя бы ненадолго приобщиться к уравновешенности замкнутого душой одинокого человека. Они стояли лицом к лицу — отец и сын — дарующие жизнь один другому, продолжение один другого — стояли обычно, как ни в чем не бывало! Слепа была даже кровь — стихийное подтверждение родства. Каждая попытка абсолютной близости означала в итоге возведение новой преграды, слова не способны были помочь, даже слова мольбы, не говоря уже о чувствах, связующих отца и сына.

Старик прервал работу, положил руки на колени и молча взглянул на сына. Молчание, мгновенно переросшее в тягостное ожидание, вынудило Гаги сказать что-нибудь. И он, протянув руку, показал на молодые деревца вдоль межи (в тот же миг почувствовал, что интерес его неестествен) и сказал: «Сколько молодых деревьев, если все будут плодоносить, тебе нелегко будет справиться с урожаем». В ту же минуту он увидел немого, который волочил из-за высокой кукурузы тыквенную ботву. Гаги понял, что старик не собирался отвечать, а лишь улыбался одними глазами и молчал, боясь, что вырвется у него слово и обнажит ту отдаленность, которой уже не помогает даже кровное родство. Старик медленно покачал головой, думая о чем-то своем, положил незаконченную корзину на грудь прутьев и встал.

Потом Гаги шел за отцом, шел и сердился на себя. Стоило ему только раскрыть рот, как он тут же заслужил в ответ иронию отца. Все у него получалось невпопад, не удавалось быть искренним, он потерял ес-



рат. Сколько он снимет памятных кадров, которые впоследствии скрасят, заполнят его одинокие вечера. Но солнце заходит и слабеет свет. На сегодня хватит, впереди много времени, и каждый новый день принесет что-то свое, он в этом уверен, так что спешить незачем.

Туманные ночи были обычными для этого горного края, туман приходил вслед за знойным днем, окутывал окрестности и курился до самого утра.

Вот и сегодня сумерки подкрались как-то незаметно. Казалось, туман окутал и мысль Гаги, одну и ту же, не дающую ему покоя. Неужели он ничего не может сделать для старого отца? А если предложить ему поехать в город? Отец, вероятно, поднимет его на смех... А может, придумать что-то умное?.. Чем больше он ломал голову, тем больше слова теряли смысл, рассеивались, как туман, гонимый ветром. Стиралась грань между сказанным и несказанным, и не оставалось ничего, кроме насыщенного молчанием мрака, откуда никто не выйдет и не поможет ему в его беспомощности.

Память вызвала одну за другой женщин, которые не жалели для Гаги тепла и любви, были с ним в разные периоды его жизни, женщин, столь не похожих характерами, красивых и невзрачных, умных и глупых. Неужели кто-то из них смог бы безропотно жить в этом задыхнувшемся в ночном тумане доме, смог бы дышать рядом с ним?.. Такой не было...

Отец с сыном сидели на крытом наполовину балконе при рассеянном свете электролампочки. Немой готовил поздний ужин, раздражающе гремел посудой, бесцеремонно прерывая мысли Гаги. А он упрямо цеплялся за них, собирал противоречивые, взаимоисключающие, несовместимые, рожденные его бедой и заботами мысли. И чего ради он подался в город?.. Ведь он мог произнести эти мысли вслух и, следовательно, быть искренним. Быть может, он смог бы тогда убедить и старика в том, что не ради легкой жизни остался в чужом краю, такова была воля судьбы, и он не мог изменить что-либо. Но старик ни о чем не спрашивал. Он сильнее меня, думал Гаги, постарел, но сильнее меня. Он ощущал преимущество отца, молчаливого, предоставленного самому себе. И все-таки все, что было связано с отцом, касалось его, Гаги, незримым

потоком проникало в его душу и захлестывало ее, вероятно, для того, чтоб он осознал, как много отец позволял ему, а может, и вовсе отнимал право на все, оставлял нагишом между небом и землей, как белье, вывешенное для просушки, оставлял на том самом высоком перевале, где только язык подсознания диктует, что надо окриком отогнать охватившую тебя беспомощность, как подступившую ко двору свору собак.

Немой накрыл на стол и исчез куда-то, оставил отца с сыном наедине, словно для того, чтоб не тревожить навеянный туманом покой.

Гаги чувствовал себя неуютно в этом покое, изредка нарушаемом легким постукиванием плохого протеза во рту старика.

Ведь мог он хотя бы в этом помочь старику, найти ему хорошего техника... Скоро он займет свою квартиру и не будет зависеть от человека, сдающего ему комнату... Но поедет старик с ним? Думая об этом, Гаги пытался отогнать от себя вновь охватившее его ощущение беспомощности. «Ни дня не жил спокойно, а здесь обо мне черт знает что думают...». Эта мысль не оправдывала его и не утешала, в особенности сейчас, когда мучительный для него кляцающий звук отцовского протеза растворялся в неподвижности мутной, пронизанной туманом ночи и настойчиво напоминал ему о том, что он, оказывается, ничего не может сделать даже для самого близкого человека. И сколько бы ни прошло времени, что бы ни случилось, всему мог прийти конец, но только не сожалению, которое рождалось само по себе, необъяснимо и непредрекаемо, не спрашиваясь у него, как не спрашивают у новорожденного, какое дать ему имя. Вдруг его охватило чувство неприкаянности. Как тогда, когда его мальчуганом послали в ущелье за травой омбало, или же когда он остался один в холодном поле и, продрогший от сырости, с трудом волочил тяжелые от прилипшей грязи ноги, или когда поздно ночью, лежа в постели, слушал гулкие шаги запоздалых прохожих и знал, что это идут домой усталые горняки, фонарем на каске освещая дорогу и громко беседуя.

И эта тоска позже казалась ему такой же щемящей, как доносящиеся до живущих в узкой и длинной, как саркофаг, комнатенке студентов полуночные звуки аккордеона из окраинного военного клуба. Нет, печаль

ли, видимо, не будет конца, она перейдет из года в год из жизни — в жизнь, от предмета к предмету, будет существовать вечно, чтоб стала ценнее крохотная, с ноготь мизинца, радость.

Для чего все это Гаги, неужели для того, чтоб сказать, что и мы не бесконечны, что и мы когда-нибудь превратимся в печаль. Он чуть было не произнес это вслух, утешая старика, который уже закончил есть и не терзал его душой скрипом протеза.

То ли старик отвык от разговоров, то ли ему в самом деле не о чем было говорить с сыном... Они сейчас были похожи на два дерева, которым суждено было волею судьбы лишь стоять рядом и только, ведь они никогда не смогли бы укрыть друг друга от ветра или же уберечь от палящих лучей солнца.

О чем же он может беседовать со стариком, когда молчанием захлестнуло не только их, но и вечер. У Гаги было такое состояние, какое бывает, когда, проснувшись среди ночи, не можешь сообразить, который сейчас час, и, пребывая вне времени, еще сильнее ощущаешь, что оторван от всего, что тебя поглотила непреодолимая пустыня ночи, и что бы ты ни предпринял, хоть круши стены криком, все равно ни до кого не докричишься. Ты моль, вращающаяся в собственной беспомощности, лишь пылинка в этом мироздании, и цена твоему крику такая же, как увядшим цветам, выброшенным на помойку.

Но пока что время их не остановилось, они еще могут ощутить радость существования друг друга, она поможет им обрести себя, найти пути к собственному покою. Они могут, сидя бок о бок, говорить о том, о сем, Гаги может обрадовать его, сказать, что эта тихая ночь, гирлянды желтых цветков шафрана на стене напоминают ему детство, что старые мечты не имеют общего с настоящим, и, может статься, ему удастся убедить старика в том, что одиночество — удел не только старости. Расскажет о городе, скажет, что город — это не только заасфальтированные улицы и шум, дым из заводских труб и бесконечное движение или же кино и развлечения. Город так же неприступен, как бушующее море, и признает далеко не каждого. Если бог дал тебе ума, ты поймешь это. Ты как непрощеный

гость жаждешь, чтоб с тобой разделили не только кров, но и хлеб, просишь чуть ли не с протянутой рукой, с мольбой, терпеливо, не обладая смелостью даже того мацонщика, который ходит по улицам с туго набитой сумкой и продает банку мацони за рубль, не сбавляя ни копейки, ибо он не чувствует себя в роли непрошеного гостя, он ежедневно ходит по одним и тем же заученным им улицам, где не знают его имени, но нуждаются в нем, как в воздухе и воде. А ты нужен городу? Ты думал об этом? Или город нужен тебе самому, чтоб еще и еще раз почувствовать, что для тебя здесь нет места, потому-то все твои помыслы направлены на то, чтоб обосноваться в нем и пустить корни. Старику смеха ради достаточно рассказать о том, что в одной крохотной комнатенке сидите шесть человек и, пробираясь между столами, протираете себе брюки. Целыми днями читаете тексты, обрабатываете архивный материал. На кой черт вам эти тексты, удивится он, улыбнется простодушной улыбкой крестьянина, не лучше ли заняться настоящим мужским ремеслом? Хотя бы сажать или прививать деревья? Тогда что он ответит? То, чем я занимаюсь, тоже работа, и ее никто, кроме меня, не сделает? Если он и в самом деле начнет убеждать старика в этом, вот будет потеха! Но он знает, что старик не спросит, и без этого прекрасно понимая, чего стоит бесцветная, скучная жизнь сына, представшего к чуждым ему людям и чуждому быту, жизнь, похожая скорее на примирение, нежели на спасение. Да и сам Гаги ведь не раз чувствовал, что думать о спасении излишне, ему не спастись в этой бесконечной круговерти, не убежать от свистков паровозов, шума базаров, от стаи карьеристов, от стоящих на эскалаторе уставших людей, от скуки безлунных ночей, от урапатриотов, бьющих себя в грудь, от телефонных звонков, очередей, от волнений стадионов, от сирен и кто знает еще от чего, что, казалось бы, тебя не касается, однако делает тебя свидетелем, невольно захватывает тебя и растрчивает, постепенно, как копейки, отмеренные от зарплаты до зарплаты. И ты обязан отмерить себя на все это, тебя должно хватить на терпение и ожидание. Ты не должен расслабиться хотя бы до тех пор, пока не поймешь, что падение и возвышение необходимы тебе для того, чтобы постичь, чего стоишь

ты сам. Изменить то, что естественно и закономерно, — немислимо, но ведь можно скрасить своим ближним хотя бы один вечер, по-человечески провести с ними один-единственный вечер, придумать красивую ложь о том, что мы неодиноким под этим небом и не пришли в этот мир на мгновение, как бабочки, что нам надо подумать и о нашем будущем.

Гаги не под силу было даже это, он понимал, что не может прибегнуть даже к приукрашенной лжи, настолько глубоко отчуждение между ним и стариком. Эта ли правда сильнее, или та, что оба они потеряли самого близкого человека, что эта потеря — неотъемлемая частичка души каждого из них, и потому, если бы они сидели вот так, молча, даже целый век, не найдя друг для друга хотя бы одного слова в этом объёмном туманном пространстве, близость их не уменьшилась бы ни на йоту.

И все-таки Гаги хотелось заставить заговорить старика, глядящего в сумеречную даль, словно там виделось ему сбежавшее фетишированное одиночество, и он пытается молча, чувственной мольбой выволить его оттуда. Все равно, что он скажет, лишь бы произнес вслух слова, чтоб эта ночь не походила на ночь, проведенную рядом с покойником, не вернула тот кошмар, когда они навсегда простились с тем, третьим человеком, который был для одного матерью, а для другого — женой.

Такие же молчаливые и отчужденные сидели они тогда, когда все расходились, даже ближайшиe родственники, приходил конец заботам, утешениям, и они оставались лицом к лицу с беспощадной действительностью. Тем, прежним состоянием были пронизаны сумерки, та же неприкаянность сочилась ядом из их молчания. И Гаги не вытерпел, у него не хватило сил, и он громко произнес:

— Какой тоскливый вечер...

У старика дрогнули веки, словно он ждал именно этих слов и потому так упрямо молчал.

— Тоскливый? — повторил он с иронией, улыбка на какое-то мгновение мелькнула в его беспомощных бесцветных глазах. — Вечера делают тоскливыми люди. Все портит человек, он мастер порчи...

Слова отца удивили Гаги. Это не ускользнуло от

старика. Он взглянул на сына, который сидел, упершись подбородком в кулаки, и несколько вызывающе и с притворной наивностью добавил:

— Не так ли? Ну-ка подумай...

И дважды медленно покачал головой, мол, удивляюсь, почему ты не соглашаешься, ты ведь знаешь это не хуже меня.

Перед Гаги вновь сидел сильный человек, не тот, которого только что, казалось бы, грыз червь одиночества, а умный, сильный, Гаги не мог предложить такому человеку: повезу тебя в город, будешь жить со мной, и придет конец твоему одиночеству. Гаги понял, в чем была сила старика. Он довольствовался тем, что предлагала ему жизнь, независимо от того, было ли это для него непосильным грузом или развлечением, не жил миражем, все, что имел, определялось словом «мое» — и хлеб, и земля, и огонь, и тутовые деревья, и плетеные корзины, и кедровики, привычно слетающие на старый пшат, и пятнистая свинья, и огород, и млечный путь на небосводе, и увеличенная фотография жены, и двадцатидвухметровой глубины колодец, и закопченная дверь кухни, и солнечный луч, проникающий сквозь щель в хлеву, и сливовые деревья, и связки прошлогоднего чеснока, и проливные дожди, и кусты бузины, пышно разросшиеся в конце огорода, и грусть, и ожидание, и еще у него было много своего, собственного, начиная с утреннего рассвета, кончая болтовней сороки или даже мыслями возвращающегося позднее ночью уставшего соседа-дровосека. Все это было связано единой цепью жизни, было отзвуком всех времен. Владея всем этим, он знал, что такое богатство.

Но как понимать этот шепот возле лаврового дерева? Он ведь разрушал крепость его могущества и обращал в раба слепого вымысла!.. «Вероятно, я совсем не знаю своего отца», — пришла невольная мысль. И тут заговорил старик:

— Наладил жизнь? — Он смотрел на сына с интересом, добрым, заботливым взглядом, неожиданно раскрылся после столь долгого молчания.

Гаги растерялся, не мог решить, откупиться ли ему ради приличия двумя-тремя ничего не значащими словами или же чистосердечно рассказать о себе. И он сказал:

— Жизнь как игра в карты, растасуешь колоду думаешь, что тебе повезет; а ты проигрываешь. Что это за жизнь, устроенная на архивной пыли?

— Тоже мне, выбрал специальность, — вставил старик.

— Выбрал? Это судьба мне определила ее, а я только подчинился.

Старик покачал головой, мол, не верю ни одному твоему слову, но даже это мелькнувшее в его взоре сомнение было милосердным, прощающим, теплым и сочувственным. Он знал гораздо больше, чем представлял себе Гаги, а возможно, его сомнение объяснялось незнанием, смутным представлением о жизни сына.

«Его все интересует, но он не спрашивает, — подумал Гаги. — У него свои порядки». Ему это нравилось в отце, нравилось, что он мог слушать, а уж поверил бы он ему или нет, для них не имело принципиального значения, главное — заполнить тишину, не прерывать начатой беседы.

— Наконец-то строю кооперативную квартиру, — Гаги сам удивился, почему сказал именно это, но когда начал... — Постепенно выплачу долг, до конца своей жизни, наверное, покрою его.

Старик неожиданно изменился в лице.

— До конца жизни?

Ночь впитала эти слова, оставленные без ответа, и старик больше ничего не сказал. Молчание растерявшегося сына остановило его, удержало от слов, которые уже срывались с его уст, ибо он понял, что сын сейчас больше нуждается в сочувствии.

— Что ты строишь такое особенное?.. — вновь спросил он.

— Ничего особенного, две комнаты, и это обошлось мне в зарплату за десять лет и фиктивный брак.

Старик замер. Потом взор его, прикованный к Гаги, переместился в какую-то точку, и в нем молнией сверкнул гнев.

— Женильба... фиктивная? — спросил он с презрением. — Что это я слышу?

Он вскочил. Поздно было, вымолвленного слова не возвратишь. Ничем не мог Гаги заслониться от рожденного долгим терпением гнева отца, восставшего на защиту того, что устоялось веками, что казалось ему

незыблемым. Старик не был милосерден к блудному сыну, не обещал прощения грехов. Суд его был молчаливым, то, что он сказал, было ничто в сравнении с тем, что выражали его глаза, и Гаги уже сожалел о своей откровенности. Он бы рта не раскрыл, если бы знал, что этой необдуманно вырвавшейся фразой он так огорчит старика, так оскорбит его. Он сожалел, но было слишком поздно. Тяжело стало у него на душе. Он бы смирился, дал бы горечи вгрызаться в душу, лишь бы не смотрели на него глаза старика, как смотрят на предателя. Дорого бы заплатил за то, чтоб в представлении отца вновь обрести положенное ему место, цену которому он до сих пор не знал и, вероятно, не узнал бы, если бы не эта ночь, не эта необдуманная откровенность. Он все бы отдал за то, чтоб старик повернулся к нему сердцем, сменил суровость на всепрощающую родительскую доброту, он ведь помнил, как отец сердился, бывало, на него в детстве, поглаживая ладонью его побитые коленки и ворча, что он не ребенок, а зверь. И сердито сверкал глазами: «Ух ты, собачье отродье, когда только ты наберешься уму-разуму...». Хоть бы он сейчас обозвал его собачьим отродьем, только бы не смотрел такими глазами, гневными, терзающими душу. С какой радостью он вернулся бы вспять, превратился бы в деревенского мальчишку, который ничего не видел, кроме лесов и оврагов, ничего не слышал, кроме шума реки, для которого не было ничего более знакомого и родного, чем запах резиновых сапог отца, дух хлева с перезимовавшей скотиной, и не покидал он отчего дома, где глубокой ночью трещал затаившийся в печи сверчок, и не думал о чуде, которое заставляет задумываться о собственном бытии, о том чуде, которое останется для тебя тайной до самой смерти, ибо так и не познаешь, откуда пришел и куда идешь, никогда не причастишься к тайне, по воле которой в этом подлунном мире существуешь ты и куст калины, ты и восход солнца, ты и сон, ты и вызывающий ужас крик филина в ночном мраке и многое-многое другое — вместе с тобой, в связи с тобой, олицетворенные в тебе.

Тщетной была мечта. Не мог он обратиться в мальчишку, не обругают его собачьим отродьем, не обогреют хворостиной по голым пяткам и не оставят без ужи-

на наедине со щенком в посеребренной лунным светом ночи.

Старик молча сводил с ним счеты, в упрямом молчании проклинал того, кто породил его. Хоть бы он заговорил, до конца высказал все, что думал. Развратилась, мол, душа у нынешней молодежи, неужто можно всем и всеми играть?! Нет у вас ничего святого! Тьфу, что вы за люди, тьфу на вашу образованность! Будь ты проклят со своим городом, да обрушится на вас потоп! Отныне нет у тебя отца, я отрекаюсь от тебя!

Но старик не издал ни звука, не проронил ни слова, молча встал и ушел. Гаги взглянул на его опущенные плечи, заметил, что он идет нетвердой походкой. Такой походкой он ходил несколько лет назад, удрученный смертью жены, предавшись глубокой скорби и лишь изредка вздыхая: боже мой!.. Этим одним словом он как бы извинялся, что все еще дышит, что не последовал за женой, не отказался от жизни и терпеливо ждет своего часа. Он и сейчас, вероятно, думает так, идя к кухне, проклиная свою судьбу.

Если бы он мог пойти за стариком, броситься ему в ноги... Может быть, отец проявит великодушие, простит, ведь и в самом деле, разве так уж велика вина сына. Не виноват же он в том, что в городе нужна постоянная прописка? Не может же он жить под открытым небом? Вот и вынужден пойти на компромисс. Такое ли бывает на свете? Но старик не мог слышать этого, да и не желал, его жизнь протекала по другим законам.

Всю ночь в комнате Гаги горел свет. Он лежал на тахте и бессмысленно переводил взгляд с одной стены на другую. Книжки на полке не вписывались в эту комнату с ограниченным пространством, низким потолком, точно так же, как не мог Гаги привыкнуть к окнам с незакрытыми ставнями, в которых ему мерещился упорный взгляд наблюдавших за ним детей. Они смеялись друг друга, поднявшись на цыпочки, замерев, прижимались носом к запотевшему от их дыхания стеклу.

Гаги знал, что никто, конечно же, не подглядывал, дети, скорее всего, давно спят, им и во сне не могло

присниться, что им принадлежит какая-то доля в ночных ощущениях Гаги.

Какой низкий в комнате потолок! Гаги кажется, что он вот-вот обрушится на него. Он лежит совершенно опустошенный под этим низким сводом и не может даже читать. То было знакомое состояние, испытанное им тысячу раз, но здесь, под родным кровом, оно не могло быть для него утешением. И здесь одно и то же... И здесь ничего не меняется...

Не скоро сонное марево поглотило его усталое тело, избавило от пронизанной тусклым светом лампочки комнаты, увлекло во власть сна, в котором он был кентавром, у него болела нога, и он хромал. Но пришел на работу. Он с нетерпением ждал, когда очутится за своим письменным столом, чтоб дать отдых своей больной ноге, но привратник не впускал его. Сослуживцы проходили мимо него, не здороваясь. Он взглянул на стенные часы. Через две минуты закроют табель. Я опаздываю, сказал он привратнику, загородившему ему вход. Но тот резко отстранил его — отойди, не мешай людям проходить. И легонько толкнул его в плечо.

«А меня уже и за человека не считают...» — подумал Гаги. Больная нога с трудом выдерживала тяжесть тела. Глупец, рассердился он на привратника, пора ему на пенсию, махнул рукой, повернулся и пошел.

День был нарушен, выпал из привычной колеи, у Гаги появилось свободное время, но он не знал, как его использовать. А там, на письменном столе, ждала его работа. Он решил воспользоваться случаем, зайти в кассу по предварительной продаже билетов и купить билет в оперу (как давно он не был там!), в конце концов должен же он посмотреть Лавровского в «Порги и Бесс», на привратника же придется пожаловаться в профсоюз, другого выхода нет, пока его самого не наказали за прогул, он должен позаботиться о себе. Вот и появились у него дела, нашлось, чем заполнить день.

Хромая, шел он по узенькой улице, где жил его старый знакомый, пианист. Он может сейчас заглянуть к нему, тот, вероятно, дома. Он попросит его сыграть вторую часть двадцать первого концерта Моцарта, по-

том они еще немного поговорят, и он вновь вернется к своему свободному времени, обретенному им по милости привратника.

Но он не узнавал улицу. Он глядел на фасады красивых трехэтажных домов в стиле барокко, и вдруг из-под каменной плиты выскользнула рыба, довольно большая, покрытая сиреневой чешуей, взлетела перед самым его носом и растворилась в воздухе. Странно, что нужно рыбе на суше? Потом полил дождь и вокруг выросли фонтаны из рыб. Он с трудом пробирался сквозь эти фонтаны, наконец выбрался и очутился у нотного магазина. Взглянув на себя в стекло витрины, в ужасе отпрянул — у него не было тела.

У его изголовья стоял немой и тормошил его. Гаги очнулся. Еще не открыв глаза, обрадовался, что он — не хромой кентавр и ему не надо жаловаться в профсоюз. Когда же открыл глаза, то увидел, что немой был сам не свой, не скулил по своему обычаю, все бессмысленные звуки сосредоточились в его взоре, готовые воплотиться в слова. Гаги не успел спросить, что ему надо, как немой открыл рот и... произнес: «Уходи!». Собственный голос еще более исказил лицо немого, он схватился за голову и выбежал из комнаты.

Гаги охватило чувство, в котором в своей высшей, кульминационной точке слились ужас и неожиданность. Может быть, это ему показалось? Может быть, его обманул слух и он принял бессмысленный скулеж немого за жесточайшее слово — уходи! Нет, как бы он ни закрывал глаза, он не мог убежать от действительности, от той правды, что немой заговорил, чтоб сказать единственное слово, одно-единственное слово, по силе своей равноценное тому, которым человек не то что предупреждает другого с беде, а утверждает эту неминуемую, страшную опасность инстинктивным криком! Змея! Оползень! Огонь! Катастрофа!

Он вскочил, вышел на балкон. Немого не было видно. А в траве, словно в обмороке, валялся срезанный под корень лавр. Время от времени над ним с гомоном, удивительно низко пролетали ласточки. В кустах в низине раздался выстрел, кто-то охотился спозаранку.

Гаги чувствовал, что с трудом держится на ногах, что у него, как у кентавра из сна, тяжелое тело. Он

охотно согласился бы в эту минуту стать тем хромым кентавром.

Он вернулся в комнату, стал собирать книги, он ненавидел их, ненавидел себя, эти места, кусты, в которых в свое удовольствие стрелял охотник.

Когда он шел по проселку, кто-то поздоровался с ним по деревенскому обычаю. Он кивнул в ответ и ускори́л шаг. Стонала кровь, он физически ощущал, как она стонет, отторгнутая от своих корней. Мягко ступал он по каменистой земле, оставляя за собой легкую белую пыль. Выстрелы доносились уже издалека, слабым эхом отзывались в пронзительной тишине. А ласточки носились низко-низко, складывая и раскрывая хвосты-ножницы, складывая и раскрывая.

Перевод **Виктории ЗИНИНОЙ**



Из цикла
«ПИСЬМА В БОЛЬНИЦУ»

* * *

Проходит быстро время
На взлетной полосе,
Где были мы со всеми,
Но не совсем, как все.

Мы подчинялись слепо.
Мы жили наугад.
Но рвут моторы небо
И вот уже — закат.

И вновь задержка рейса.
И все идет вверх дном.
Но существуют рельсы
И море за окном.

Оно все длится, длится,
Не ведая границ.
И этот мир струится
На фоне наших лиц.

Отражены в окошке
И, лишены оков,
Мы сплошь из звездной крошки,
Воды и облаков.

* * *

Я ночью стала задыхаться:
Луна моих касалась век,
И белым ворохом акаций
В меня летел крещенский снег.

Крещенские стояли ночи,
Крещенские стояли дни.
И город рокотал, — короче,
Мы снова были не одни.

Меня измучил этот город,
Где ты со мной и не со мной,
Где прохожу, поднявши ворот,
И взгляды чувствую спиной,

Где кинотеатр в полуподвале —
Единственно возможный дом.
Мы будем счастливы? — Едва ли.
Давай простимся за углом.

Но нет, не слушай. Это бредни,
Мы весело несем свой крест,
И ласки бешеной последней
Меня удерживает жест.

А снег идет неделю кряду
И тает у горячих щек.
И ты все время рядом, рядом,
И ближе, может быть, еще.

* * *

Я ночью вспомнила о смерти,
И тесной сделалась кровать.
Смерть

шла

ко мне

письмом в конверте,

Который страшно открывать.

Хочу, как в детстве, крикнуть маму.
Я не могу смотреть одна,
Как в перекошенную раму
Вползает белая луна.

Нет, эти мысли — не кошмары,
Но содраганья бытия.
О, сердца частые удары:
Неужто же умру и я.



041935740
20220110330

Наталия

Зачем я? Для чего? Мне страшно.
Не выбраться из западни.
Такому ужасу сродни
Лишь жизни ужас рукопашный.

Ну, вот и отыскалось слово...
Чего хотят они от нас —
Мучители и птицеловы
С обычным выраженьем глаз!

Я дважды умереть могла:
Сначала вовсе не родиться,
Потом палаты полумгла —
Зима, зияние, больница.

Но я упасена судьбой
Не с тем, чтоб пререкаться с ними,
А чтоб свое услышать имя,
Произнесенное тобой...

А завтра было воскресенье.
И я спала. И поутру
Мне снились ворохи сирени,
Мерцающие на ветру.



Известному грузинскому писателю Л. И. Хаиндрава исполнилось 70 лет.

Коллектив редакции и редколлегия журнала «Литературная Грузия» поздравляют Левана Ивлиановича с юбилейной датой, желают долгих лет жизни, творческих успехов и крепкого здоровья.

ОЧАРОВАННАЯ ДАЛЬ

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

* * *

КАК показывает опыт истории, самое опасное в международной политике это сознание агрессором своей безнаказанности.

Прочно закрепившись в Маньчжурии и мимоходом прихватив еще одну обширную провинцию — Жэ-Хэ (Внутренняя Монголия), Япония в 1937 году посчитала, что наступило время перейти к решительным действиям в Китае.

СССР, вынужденный за бесценок продать Китайскую Восточную железную дорогу, был занят внутренними делами.

В Европе восходила зловещая звезда Гитлера.

Франция и Великобритания, оказавшиеся перед лицом растущей мощи тоталитарных режимов — итальянского фашизма и германского нацизма — растерялись. Вдвоем против Германии они и прежде ничего поделаться не могли. На Россию, которая, словно сухая губка, впитывала и поглощала добрую половину германской сухопутной мощи во время первой мировой войны, им теперь рассчитывать не приходилось. Новая Россия в дальней перспективе была для них не менее, если не более опасна, чем Германия Гитлера.

Учитывая все эти обстоятельства, правители Японии приступили к осуществлению своих замыслов. Для начала применили испытанный способ: 7 июля 1937 года недалеко от Пекина в местечке Лу-Кяо-Чао у моста Марко Поло «кто-то» (сами же японцы) обстрелял японский патруль. Это дало повод японским подразделениям напасть на китайскую воинскую часть, расквартированную в данной местности.

Хотя центральное китайское правительство в Нанкине, как всегда неготовое и как всегда склонное идти на компромисс, предлагало уладить конфликт путем переговоров, японцы выставили такие условия, что их не мог принять даже Чан Кай-ши, явно больше опасавшийся собственных коммунистов, чем японцев.

Этого только и надо было японцам. В ряде стратегических пунктов китайского побережья они высадили крупные десанты и начали открытое вторжение. Но, полагая, что все обойдется так же легко и просто, как с захватом Маньчжурии, японцы просчитались. Даже не получая явных указаний из Нанкина, китайские командующие на местах, за малыми исключениями, оказывали сопротивление агрессии.

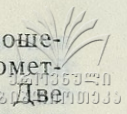
Упорные бои развернулись в провинции Хэбэй, в Шандуне и, наконец, в Цзянсу, где японцы попытались, как и в 1932 году, внезапным ударом овладеть Шанхаем. Не вышло тогда, не вышло и на этот раз.

Китайские войска были плохо вооружены, еще хуже обучены и организованы, не имели единого командования и, тем не менее, на сей раз японцам пришлось преодолевать серьезное сопротивление.

На севере части генерала Тан Эн-по с винтовками и пулеметами старых образцов больше месяца удерживали Нанькоусский перевал. На стыке провинций Шандун и Цзянсу молодой генерал Ли Цзун-жен одержал над японцами победу местного значения под Тайерчуаном, где ему удалось окружить и уничтожить сперва одну, а потом другую, далеко продвинувшиеся японские дивизии.

В Шанхае, как и за пять лет до того, разгорелись яростные бои.

Когда речь идет о военных действиях в Шанхае, следует помнить, что этот гигантский город не представ-



для собой единого целого в административном отношении. Вытянутый с запада на восток на много километров, он был продольно разделен на четыре зоны. Две внутренние полосы — Международный селтльмент и Французская концессия оставались нейтральными, и японцы, которым было бы совсем некстати сейчас вступать в конфликт и с западными державами, строго соблюдали неприкосновенность этих районов. Южная, китайская часть города — Нантао и менее густо населенные западные предместья большого интереса в военном отношении не представляли, и все усилия японцев сосредоточились на захвате северных и восточных районов — Чапея и Янцепу, где пролегали важнейшие коммуникации, находились военные аэродромы, арсенал и военно-морская база Вузунг. Тут-то и шли кровопролитные бои в течение многих недель. На стороне китайцев была численность, на стороне японцев — техника, выучка, организация, опыт командиров. Эти факторы не могли не сказаться.

У Гоги Горделова и всех, кто разделял его чувства, сердце обливалось кровью при виде того, как под градом артиллерийских снарядов и авиабомб гибли тысячи китайских юношей, нанося лишь незначительный урон агрессорам.

Зная, что имеют дело с плохо подготовленным противником, японцы вели боевые действия, не соблюдая многих канонов военного искусства, а сообразуясь лишь с возможностями момента. Операции разворачивались по принципу: захвати как можно скорей и больше, все равно противник не сумеет воспользоваться благоприятными обстоятельствами.

Японская эскадра во главе с флагманским крейсером «Идзумо» прорвалась по Вампу мимо фортов Вузунга, почти не понеся потерь. Бросив якорь на траверсе Международного селтльмента в том месте, где одно за другим расположились три консульства: советское, японское и германское, и укрывшись за этими неприкосновенными дипломатическими зданиями, «Идзумо» повел обстрел китайских позиций с тыла. Правда, посылая снаряды через нейтральные городские кварталы, японцы не могли вести прицельную стрельбу, но они к ней и не стремились.

Орудия японского крейсера причиняли разруше-

ния многострадальному Чапею, жители которого не забыли еще ужасов 1932 года. Психологический эффект был сильный: обстрел вызвал панику среди населения и замешательство в воинских частях обороняющихся. А китайцы, в руках которых оставался противоположный берег Вампу и который из Путунга¹, могли бы прямой наводкой расстрелять «Идзумо», почему-то этого не делали.

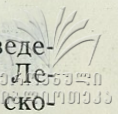
Существовали разные мнения по этому поводу. По одной версии, у китайцев на правом берегу просто не было артиллерии, по другой — они опасались в случае промаха попасть в одно из консульств (боялись попасть даже в японское!).

Так или иначе, но «Идзумо» — бывший русский крейсер, захваченный японцами во время русско-японской войны, продолжал наносить чувствительные удары по защитникам Шанхая, оставаясь в то же время сам целым и невредимым.

Но японцы не были бы японцами, если бы не попытались прощупать на крепость нервы и военно-политические позиции западных держав. Ведь в природе всякого агрессора, даже будучи занятым на основном направлении, попытаться прихватить то, что плохо лежит на обочине. В самый разгар боев японский адмирал, командующий эскадрой, пригласил своих американского, британского и французского коллег и сделал очень характерное заявление: так как у него на кораблях орудия устарелых образцов, а команда недостаточно опытная, то возможны случайные попадания в нейтральные объекты, о чем он заранее глубоко сожалеет.

Американский адмирал, в простоте душевной, понял слова японца буквально и ответил, что на войне, мол, всякое случается, тут ничего не поделаешь. Британский адмирал, отнюдь не столь простодушный, но воспитанный в традициях, согласно которым следует быть решительным и даже беспощадным, когда имеешь абсолютное превосходство в силах, в противном же случае приходится быть гибким и уступчивым, не гнушаясь даже унижением, с кислой миной заявил, что при-

¹ Город на правом берегу Вампу, расположенный напротив Шанхая.



нимает сообщение своего японского коллеги к сведению. Последним поднялся французский адмирал Ле-Биго со своей седой бородкой и очками, похожий скорее на университетского профессора, нежели на мате-рого морского волка. Адмирал Ле-Биго, однако, довел до сведения своего уважаемого японского коллеги, что у него-то на тяжелом крейсере «Примоге» орудия самые современные, моряки подготовлены отменно и потому он выражает твердую уверенность, что ни один японский снаряд не заденет французских объектов.

Дальнейший ход событий показал, что соответствующие выводы из этого совещания японцы сделали. На следующий же день два японских снаряда нена-роком попали в расположенное на Банде здание бри-танской газеты «Норс Чайна Дэйли Ньюс». Произо-шли, правда, менее серьезные, случайные попада-ния в американское имущество, но ни один снаряд не задел французских объектов.

Сражение в городе шло уже месяц, а японцам так и не удалось добиться сколько-нибудь существенных успехов. И тут у китайцев появилась авиация — само-леты, полученные в качестве помощи из Советского Союза.

У китайских летчиков не было ни опыта, ни выуч-ки. У них была только смелость и готовность отдать жизнь за свою родину.

В пятницу, 13 августа, китайская авиация предпри-няла отчаянную попытку нанести удар по японской эскадре, имея задание во что бы то ни стало вывести из строя флагманский крейсер «Идзумо». День был па-смурный и душный. Желтовато-серые облака закры-вали небо, сквозь их ватную пелену лишь изредка и не-надолго просачивались к земле редкие солнечные лучи.

В центральных районах французской концессии слы-шались разрывы бомб, рвавшихся на Вампу, и лающие звуки зенитной артиллерии. Это японская ПВО поста-вила сплошную огневую завесу над своим флагман-ским крейсером, пытаясь пробиться сквозь которую, шлепались в мутные воды Вампу китайские боевые ма-шины. Некоторым, однако, удавалось прорваться, и они сбрасывали свой смертоносный груз на вожделенную цель. Вода вокруг «Идзумо» кипела, струи взмывали

фонтанами, но крейсер, словно заколдованный, оставался неуязвимым.

В одиннадцатом часу утра в воздух поднялись японские истребители и над Вампу разгорелись яростные схватки. Наблюдавшие за ними с крыш высоких зданий селльмента военные атташе иностранных держав подсчитали, что на каждый сбитый японский самолет приходится три китайских.

В это самое время на границе между французской концессией и Международным селльментом, на площади, образованной пересечением широкой авеню Эдуарда 7-го и не менее широкого бульвара Де-Монтиньи, против китайского театра Та-Сы-Ка, сосредоточилась огромная толпа беженцев из горящих районов Чапея. Эти люди находились там уже несколько дней, потому что разместить их было негде.

Площадь Та-Сы-Ка представляла собой как бы огромный табор. Люди там успели обрести бытом: спали, готовили пищу, обменивались новостями, плакали, а порой и смеялись, потому что без смеха человек не может даже в самых трагических обстоятельствах. А дети — те и вовсе не унывали: они бегали, путаясь под ногами у взрослых, играли, обижали и развлекали друг друга.

Словом, жизнь продолжалась и в этих условиях.

Около одиннадцати утра в китайский легкий бомбардировщик попал осколок снаряда от японской зенитки и почти в то же мгновение японский истребитель выпустил очередь в него. Китайский летчик был ранен в грудь. Положение было безвыходное: пилот понимал, что поврежденный самолет до Киангванской авиабазы не дотянет, да и сам он вряд ли сохранит сознание дольше, чем еще несколько минут. Аппарат с подвешенными к нему снизу двумя крупными бомбами был уже над кишачими толпой узкими улицами делового района селльмента.

И тут летчик вспомнил, что совсем неподалеку, если взять по прямой, находится огромное поле Рейс-Корса². Туда! Там он сможет посадить самолет, и его бомбы, не принесшие ущерба врагу, хотя бы не взорвутся над его соотечественниками. Слабеющей рукой

² Ипподром.

китайский летчик — сам шанхаец, в недавнем прошлом студент, бросивший ученье и поступивший в военную летную школу в предвидении неизбежной войны, направил свой самолет к центру города.

Никто не знает, что произошло в самолете дальше, только когда подбитый бомбардировщик пролетал над площадью Та-Сы-Ка, от него отделилась тяжелая бомба, а через несколько мгновений — вторая... Видимо, пилот уже не сознавал, что делает, и нажал не на тот рычаг.

Первая бомба упала в самый центр человеческого муравейника. Взрыв огромной силы потряс не только площадь и прилегающие районы, но был слышен даже в дальних кварталах. Вторая бомба от детонации взорвалась в воздухе и накрыла всех, кто уцелел от первой.

Площадь в одно мгновение превратилась в месиво искромсанной человеческой плоти, плавающей в своей же крови. Над площадью повисла мертвая тишина: кричать было некому. В прилегающих улицах тоже несколько минут царило молчание: те, кто поняли, что произошло, — онемели от ужаса, другие просто испугались.

В то утро Гога проснулся позже обычного, накануне долго читал: заканчивал «Идиота», потом попробовал записать свои мысли, рожденные книгой. Впечатление было потрясающее, в голове и в душе тоже, все бурлило, с записями ничего не получалось. Слова, выходявшие из-под пера, были все какие-то приблизительные, немощные, никак не выражавшие тех чувств, которые вызвала эта страшная книга.

Раздосадованный, Гога принял прохладный душ, чтоб немного успокоиться, и лег, но сон не шел. Было очень душно — ни малейшего движения воздуха. Тягостен август в Шанхае. А над крышей противостоящего дома по небу разливалось зловещее багровое зарево: горел Чапей. Угнетало сознание своего полного бессилия, невозможности прекратить это преступление, хоть как-то помочь жертвам.

Гога знал, что там гибнут люди, теряют свое достоинство и богатые и бедные, превращаются в груды развалин дома, приютившие в своих стенах мужчин и женщин, детей и стариков, с их горестями и радостями,

заботами и отрадами, словом, всем тем, что составляет человеческую жизнь. А мир смотрит на это, как на действие, разворачивающееся в театре. Не совсем равнодушно, конечно, ведь и в театре зрители редко остаются совершенно равнодушными, но и без содрогания, как на нечто неизбежное и прямо никого, кроме своих жертв, не касающееся.

Неужели ничего нельзя сделать, чтобы помочь китайцам?

С этим вопросом Гога заснул, с ним же и проснулся. Со стороны реки доносился гул артиллерийской канонады, приглушенные расстоянием, но явственные взрывы авиабомб. Вчера кто-то рассказывал, что китайцы переправили пушки на правый берег Вампу. Вероятно, сейчас бьют прямой наводкой по «Идзумо». Теперь-то уж наверное потопят. Хорошо бы! И самолеты у китайцев появились. Говорят, советские. Молодцы большевики, хоть они помогают!..

Однако надо идти, — есть хочется. Уже поздно — скоро одиннадцать часов, тетя Оля будет ворчать.

Михаила Яковлевича дома не было. В центральных и западных районах французской концессии все учреждения работали. Лишь ближе к Банду чувствовалось, что в городе чрезвычайные обстоятельства, а дальше Рю Марко Поло и бульвара Де-Монтиньи не пускали. Там было опасно: шальные пули и осколки залетали сюда, среди прохожих имелись жертвы.

— Ты только на Банд не рвись, Гогоша, ради бога, — увещевала Ольга Александровна. — Это опасно. Думай о маме.

— Да нет, я не собираюсь туда, — успокаивал тетку Гога. — И все равно не пускают. Полиция стоит.

— Значит пытался-таки, — укоризненно качала головой Ольга Александровна.

— Но вчера же тихо было...

— Какое там тихо. Вот почитай, что в газете пишут. Я тебя так не отпущу. Дай слово, что дальше авеню Дюбай шагу не сделаешь.

Гога улыбался, но давать слово воздерживался. Тетка настаивала.

— Ей богу не пущу! Нечего тебе на улице делать. Скоро Миша придет, обедать будем.

— Да я же поел только что! Какой там обед? Я
домой пойду, читать буду.

— Домой? — Ольга Александровна пытливо
глянула племяннику в глаза, пытаясь определить правду ли он говорит. — Ну хорошо. Иди. Но только прямо домой. Вечером приходи пораньше, а то я волноваться буду.

В это время раздался сильный взрыв, за ним сразу же — второй. Стекла задрожали, балконная дверь скрипнула и раскрылась пошире, в стакане задрезжалась ложечка. Стало тревожно.

— Ничего себе! — с почтением проговорил Гога. — Наверное, в «Идзумо» попали.

— Ну вот, а ты хочешь идти! — нашла новый аргумент тетя Оля.

— Да я не туда, я домой, — возразил Гога, и ему пришла в голову идея, как отделаться от тетки. — Где Аллочка? Я за ней пойду!

— Да, да, сходи, приведи ее. Она тут недалеко, у Комаровых, — заговорила не на шутку обеспокоенная Ольга Александровна. — Зачем я ее выпустила из дому сегодня? Это все Миша: ничего, мол, опасного нет. Сюда осколок долететь не может. И вот, на тебе, пожалуиста.

Далеко идти за кузиной не пришлось. У входа на террасу он увидел ее, вместе со стайкой подруг, быстро перебежавших улицу. С тем радостно-возбужденным видом, который всегда бывает у подростков, являющихся свидетелями чего-либо необычного, Аллочка заговорила:

— Ты слышал, Гога, какие взрывы сейчас были? Я так испугалась, так испугалась!

— Слышал, слышал. Иди скорее домой, мама волнуется.

— А мы в кино хотели пойти. Как ты думаешь — пустит?

— Не знаю. Лучше дома оставайся, — ответил Гога, испытывавший в отношении сестренки то чувство, которое сам возбуждал в Ольге Александровне. — Не надо сегодня никуда ходить. Так лучше будет.

Дойдя до угла Рю Масснэ, Гога невольно остановился. Мимо него на большой скорости промчался низкий мощный «ситроэн» начальника французской полиции

Фабра. За ним, на такой же скорости, вторая машина — заместителя начальника полиции Бланшэ. Еще два или три «ситроэна» и «рено» проследовали в ту же сторону. Все французское начальство мчалось к Банду.

«Что-то важное случилось, — подумал Гога и вспомнил про раздавшиеся несколько минут тому назад взрывы. Тревога еще сильнее заохлодила сердце, повеяло неведомой бедой, и стала очевидной иллюзорность относительного благополучия, в котором текла жизнь здесь, в стороне от несчастий, обрушившихся на китайские районы.

Гога вышел на авеню Жоффри. Там все шло как обычно: торговали магазины, ходили трамваи, сновали пешеходы. Гога даже разочарование испытал от подобной обыденности, но и сам начал настраиваться на будничность. В кино пойти что ли? В «Париже» идет «Полет в Рио». Джинджер Роджерс и Фрэд Астер. Хорошие артисты, замечательно танцуют, но смотрел уже два раза. И охладительной системы в «Париже» нет. Лучше уж в «Катэй». Что там? Кажется, какая-то ерунда. Да нет, и вообще не время сегодня идти в кино...

Гога свернул на Рут Пэр Робер к Коке, которого уже несколько дней не видел. Он-то наверняка будет дома — их фабрика не работает с начала военных действий, она расположена в самом пекле. Даже толком неизвестно, уцелела ли она.

Гога уже подходил к Рю Лафайет, когда его обогнал грузовик. Занятый своими мыслями, Гога бы не обратил на него внимания, но его словно толкнуло что-то, и он поднял глаза.

Содержимое грузовика было прикрыто сверху то ли брезентом, то ли рогожей, но за машиной стлался влажный след. Кровь...

Почему льется кровь с грузовика? В это мгновение его обогнал второй грузовик, и в нем, под рогожей, не очень аккуратно брошенной на содержимое, уже подготовленным взглядом Гога различил голову женщины с широко открытыми глазами. Голова лежала как-то странно — сама по себе, а не составляла часть человеческого тела. Гога закрыл глаза и остановился... Он почувствовал острый приступ тошноты, на лбу выступила холодная испарина.

Что же это, боже мой? Ведь это везут куски людей...
Не может быть! Ему померещилось...

Гога заставил себя открыть глаза и сразу увидел дорожку подсыхающей по краям, а в середине еще дымящейся крови. И тут его миновал третий грузовик, а за ним четвертый, а там пятый, шестой...

Это очищали площадь Та-Сы-Ка от того, что осталось после трехтысячной толпы беженцев из Чапея. Службы французского муниципалитета работали исправно.

* * *

По мере того, как текли дни, отодвигавшие все дальше воспоминание о тех грузовиках, все больше обстоятельств, эпизодов, забот и людей становились между Гогой и передним краем, все гуще делалась толпа середины, в которой так удобно и покойно было чувствовать себя.

Как-то в конце августа на авеню Жоффри Гога вдруг лицом к лицу столкнулся с Жоркой Кипиани. Это была приятная неожиданность.

— Ну, здорово, студент! — приветствовал его Жорка и сперва ткнул пальцем в живот, а потом обнял.

В Шанхае, где принято было выражать свои чувства более сдержанно, это выглядело немного провинциально, хотя и трогательно.

— Как ты тут? — спрашивал Жорка в своей обычной грубовато отрывистой манере. — Воюешь?

Гога, знавший, что слова Жорки не следует понимать буквально, ответил, думая о своем:

— Университет закрыт. Неизвестно когда начнутся занятия.

— Да ну его, твой университет! Ты что делаешь?

— Я же говорю — ничего не делаю. Университет закрыт.

— Да я не о том. Сейчас что делаешь?

— Сейчас? — Гога и сам не знал, что он сейчас делает, и ответил лишь бы что-нибудь сказать: — К приятелю собирался зайти.

— Завтра зайдешь! Поехали!

— Куда? — удивился Гога.

— Там увидишь, — не давая себе труда объяснить,

бросил Жорка и, подхватив Гогу под руку, усадил в такси.

Пока они ехали, Гоге удалось получить кое-какие отрывочные сведения о Харбине. Как и следовало ожидать, хорошего там было мало. О Гогиных родителях Жорка сказал кратко:

— Мама твоя — ничего. Я перед отъездом заходил прощаться. А отец — сдал. Совсем седой, болеет часто.

Об этом Гога и сам знал из писем матери, но слова человека, недавно лично видевшего отца, и особенно их тон, произвели тягостное впечатление. Но Жорка быстро отвлек Гогу, без всякого перехода заговорив совсем на другую тему:

— Мы сейчас в гости едем. На именины. Поздравим, пропустим пару стаканчиков и махнем в «Дарьял» обедать. Понял? А потом к деду!

Гога не понял ровно ничего: чьи именины? Почему его везут куда-то в незнакомый дом? Какой еще дед? Жоркиному отцу — за семьдесят. Со стороны матери что ли? Но Гога никогда не слышал о нем. Первое, что пришло в голову, не самое важное, но неотложное, Гога поспешил высказать:

— Послушай, Жорка. Мы к даме едем? Да? А я — с пустыми руками. Неудобно... Тут недалеко цветочный магазин. Надо хоть букет взять.

— Есть, есть. Все есть. Все будет... — невразумительно, хотя и очень уверенно, откликнулся Жорка. — Вот. Приехали. Стоп! — последний возглас относился к шоферу, который успел затормозить.

Поднявшись в лифте на седьмой этаж, Гога с Жоркой оказались перед дверью, на которой была приколота визитная карточка: Мр. Джереми С. Парнелл. А внизу, как принято, название какой-то фирмы, ее адрес и телефон, владельцем или служащим которой был хозяин карточки. Гоге эта фамилия ничего не говорила, а название фирмы тем более. Его удивляло только, что у Жорки уже завелись близкие знакомые даже среди иностранцев. Но все оказалось проще.

Открыл им бой-китаец в белом халате. Из смежной с холлом комнаты, по-видимому гостиной, слышались звуки радио, оживленные голоса, смех. Говорили по-русски. С бокалом в руке навстречу им вышла

10933

смуглая женщина, очень эффектная, хотя и некрасивая. Она кого-то напоминала Гоге своими широкими скулами и узкими, азиатского разреза глазами. Боготоймой, да это же Дальская, харбинская знаменитость! В гимназии столько о ней говорили, целые легенды ходили о ее вольном поведении. Мог ли он тогда мечтать о знакомстве с ней? Только любовался из зрительного зала, когда она исполняла вставной номер в оперетте или в эстрадном концерте между киносеансами.

— Жорочка, где же ты? Мы ждем тебя, ждем. Уже все надрались, а тебя все нет, — заговорила Дальская и расцеловалась с Кипиани.

— Ничего, сейчас догоню... — успокоил Жорка. — Вот, Тонька, привез пижона. Надо привести его в христианский вид! А то — все сухари сушит. Заучился со всем. Пропадает парень.

Голос Жорки звучал озабоченно и строго. Он словно команды отдавал.

— Приведем, приведем, — успокоила Дальская и, подойдя к Гоге, протянула ему руку. — Проходите, очень рада...

Тон был любезный, но скользнула она по нему таким беглым взглядом, что Гога усомнился, запомнила ли она его лицо. Чувствовалось, что будь сейчас на его месте кто-нибудь другой, она и того бы приветствовала так же любезно только потому, что он пришел с Кипиани.

Вслед за хозяйкой и Жоркой Гога вошел в просторную комнату, обставленную мягкой, удобной мебелью, и с удовольствием констатировал, что в квартире действует охладительная система. В комнате находилось не так уж много народу, как это слышалось из холла: трое мужчин и две молодые женщины. В одной из них Гога, к своему приятному удивлению, узнал Лиду Анкудинову, бывшую соседку Журавлевых по террасе. Вторая — тонкая, изящная блондинка с очень выразительными, лучащимися карими глазами и большим ртом, который она в улыбке скашивала набок, открывая крупные белые зубы, была явно душой компании. Когда Гога вошел, она читала стихи.

Она кончила читать и, взяв со столика стакан, сделала большой глоток. Кто-то заплодировал. Лида по-

вернулась к читавшей и, тоже держа в руке стакан с каким-то напитком, капризным тоном протянула:

— Биби, прочти то, мое любимое...

— Смоленского?

— Ну да...

«Она-то что в стихах понимает?» — удивился про себя Гога.

Биби колебалась, — она терпеть не могла, когда чтению стихов аплодировали, хотя читать умела и любила. Но здесь не та компания, где стоит читать стихи. Поддалась на уговоры, прочла одно и хватит с них. Но просила Лида, и отказать ей в чем-либо Биби была не в состоянии. С ней у Биби были особые отношения, и не знал об этом только Гога. Выручил Жорка Кипиани. Ни к кому в отдельности не обращаясь, он заговорил:

— Вот сидите тут, пьянствуете среди бела дня, антимонию разводите. Работать надо! С меня пример берите...

— От работы кони дохнут, Жорочка... — томно проговорил человек лет тридцати с безлико-красивым лицом манекена и эффектной седой прядью в русых волосах, и Гога моментально вспомнил его. Это же Карцев, Юрий Карцев — тот самый, который когда-то в Бариме единственный мог составить в волейбол конкуренцию несравненному Ковалю. Как давно это было, сколько воды утекло! И какой странный день! Одновременно, в одном и том же месте встретил трех человек, которых давно знал и про которых трудно было предположить, что они имеют отношение друг к другу.

— Проходите, садитесь, как вам удобнее, — обратилась Дальская к Гоге. — Вон там напитки, наливайте и пейте. Здесь все свои.

«Но я-то не свой», — подумал Гога, огорченный тем, что Дальская не представила его своей компании и, следовательно, не познакомила с Лидой. Он быстро нашел глазами свободное кресло и, больше всего боясь споткнуться о край ковра, задеть что-нибудь или совершить другую неловкость, прошел и сел, желая одного: чтоб о нем скорее забыли.

И хозяйка действительно забыла о нем тотчас же. Она уселась на диван между Карцевым и третьим

мужчиной, выглядевшим старше всех, к которому, однако, все обращались просто: Гришка.

— Биби, а ты знаешь, дед новую песню написал.

— Не написал еще. Пишет. Слова уже есть, а музыка нет. Ходит и мурлычет себе под нос. Рожает.

— А слова знаешь? — обратился к ней Гришка, смуглый, длинноносый человек с заметным брюшком, которое, однако, шло к нему, создавая облик бесшабашного, любящего пропустить лишний стаканчик весельчака и славного малого, каким он и был на самом деле. — Прочитай, если помнишь!

— Ты что, смеешься? Дед меня убьет! Проклянет на веки вечные! Из дому выгонит! — почти всерьез ужаснулась Биби, и только по ее глазам, в которых заискрились смешливые искорки, можно было догадаться, что это говорится не всерьез.

— Да, у деда строго, — в тон ей подтвердил Карцев, и лицо его приняло соответствующее выражение.

«Опять дед», — подумал Гога, понимая уже, однако, что слово это не следует воспринимать в его прямом смысле. — «Кого они имеют в виду? Не Вертинского ли?».

Гога вспомнил, что года полтора назад, когда Вертинский решил обосноваться в Шанхае, он в компании с какой-то женщиной открыл роскошный ночной клуб «Гардения». У женщины было странное имя, под которым все ее и знали, никогда не упоминая фамилии. Как ее звали? Биби?

Да, кажется так. Значит, это она и есть. «Гардения» скоро прогорела, потому что каждую ночь после конца работы накрывался стол «для своих», которых всегда набиралось человек двадцать, если не больше, и дым стоял коромыслом до утра. Тут уж Вертинский — натура широкая, платить не давал никому, тем более, что «Гардению» субсидировала его компаньонка на средства своего покровителя французского банкира-миллионера.

— Почему вы ничего не пьете? — услышал Гога обращенный к себе голос.

Он вздрогнул и поднял глаза: это говорила Биби. Она повернулась к нему со своего места, — они сидели недалеко друг от друга, — и смотрела на Гогу ласково и ободрающе. Она, казалось, единственная понима-

ла, как чувствует себя здесь этот скромный неопытный молодой человек.

— Да нет, я так... я сейчас... — словно оправдываясь, забормотал Гога. — Я вообще... — он чуть не выпалил «не пью», но сказать такое в этой компании было неуместно и прозвучало бы даже комично. В последний момент Гога нашел более подходящее продолжение, — пью коньяк с лимонадом.

— Ну и прекрасно! — с готовностью одобрила Биби и заулыбалась своей скошенной в сторону улыбкой, которая, впрочем, ей шла. Здесь есть «Мартель». Сколько вам налить?

— На два пальца, пожалуйста, — стараясь говорить уверенно, ответил Гога и тут же пожалел, что не сказал «на три» — так бы вышло солиднее.

Биби налила ему на два пальца и, слегка прищурившись, заговорщически спросила:

— А может быть, добавим?

Гога в ответ тоже улыбнулся и кивнул. Под влиянием дружеского тона Биби он начинал избавляться от скованности первых минут.

Биби долила коньяка, добавила лимонада и, потянувшись вперед, передала стакан Гоге. При этом она внимательно заглянула ему в глаза, и Гога удивился, что у этой женщины, о вкусах, привычках и образе жизни которой столько говорили в городе, во взгляде читается не то, что соответствовало бы пересудам, а, прежде всего, дружелюбие и простое человеческое расположение. Чувствовалось, что она может быть хорошим другом, что всегда выручит и поддержит в трудную минуту.

— Ну, давайте выпьем для знакомства, — сказала Биби, явно беря Гогу под свое покровительство.

Он был ей симпатичен: с каким интересом слушал, когда она читала стихи, остался стоять в дверях, пока не кончила.

Ей хотелось читать еще, но не в этой компании. Может быть, послать всех к черту, увезти его к себе и провести тихий благопристойный вечер под сенью поэзии? Нельзя, — Лида обидится, да и неудобно перед Тоней, ведь у нее сегодня день рождения, а муж застрял в Ханькоу, и теперь жди, пока кончится эта дурацкая война.

— Скажите, чьи это стихи вы читали? — заставил себя спросить Гога. Ему было действительно интересно, и к тому же нельзя все время молчать, когда бою так любезны.

— Георгия Иванова. Вам понравились?

— Да. И вы очень хорошо читаете.

Гога говорил это вполне искренно. Биби читала так, как читают стихи поэты — с упором на музыку стиха, на его ритм, а не так, как профессиональные артисты, которые, пытаясь донести смысл читаемого до слушателя, делают это порой в ущерб музыкальности, напеву. К тому же очень шел к чтению подобных стихов голос Биби — хрипловатый, но теплый и задушевный, а главное искренний.

— Правда? — огоньки в глазах Биби вспыхнули еще ярче. Она чувствовала, что это не пустой комплимент.

— Конечно! Но, знаете, я его ничего не читал. Только фамилию слышал.

— А у меня его два сборника есть.

— Что вы? Откуда?

— Один так где-то достала. Уже сама не помню. Второй — дед подарил.

— Это — Вертинский?

— Ну да.

Наконец-то загадка разъяснилась. Гога даже облегчение почувствовал. Но почему же все-таки — дед? А Биби между тем спросила:

— А вы с ним незнакомы?

— Нет, — вздохнул Гога.

Биби поняла смысл этого вздоха и сочувственно улыбнулась:

— Вот сегодня имеете возможность познакомиться. Мы отсюда к нему едем. Вы ведь с нами?

Гога вспыхнул. Как расценить эти слова? Как приглашение? Как пожелание? Это было бы весьма лестно, хотя, положив руку на сердце, Гога предпочел бы, чтобы внимание ему оказывала Лида. Но та и не посмотрела в его сторону ни разу. Пока Гога раздумывал, что ответить, Жорка Кипиани, перекрывая шум общего беспорядочного разговора да еще и звуки джаза из радио, закричал:

— Ну, братва, собирайся! Я с голоду помираю. Поехали!

— Что же ты не сказал, Жорочка? Я Дуну велю бифштекс тебе изжарить, — забеспокоилась Дальская.

— Бифштекс... Ваши дела... Ростбиф с кровью, ростбиф без крови. И две картофелины. Англичане... Это ты своего Джерри так корми, он привык. А я отошлал совсем, мне настоящую еду нужно, — ворчал Жорка. — Пять минут на сборы и чтоб внизу все были. Я пошел такси ловить.

— Так по телефону вызовем.

— Ну пусть так, но чтоб мне в два счета. И ты, — Жорка обернулся к Гоге, словно угадав его мысли, — не вздумай смыться. Все равно поймаем. Тогда хуже будет — водку заставим пить!

— Куда едем? — спрашивал всех Гришка, фамилия которого, как оказалось, была Полонский. — В «Дидис»?

— Какое там «Дидис»! К Шалико! Там уже стол накрыт.

— К Шалико, к Шалико! — поддержали Дальская и Биби. Все повставали с мест.

Лида Анкудинова держалась обособленно и, выйдя в переднюю, поправляла волосы перед зеркалом, подкрашивала губы.

— А вы разве не с нами? — нашел предлог заговорить Гога, вышедший следом.

— Нет, мне к восьми на работу. Заеду домой, отдохну, переоденусь. — Лида говорила деловито и категорично и только сейчас в первый раз посмотрела на Гогу. В ее холодных синих глазах невозможно было прочесть, узнает она его или нет, — ведь все же не раз лицом к лицу встречались на террасе, когда она жила там же, где Журавлевы.

— А вы где теперь работаете? — спросил Гога, словом «теперь» давая понять, что ему известно, где она работала прежде.

Лида обратила внимание на это слово и через зеркало, в которое в этот момент гляделась, посмотрела на Гогу. Проблеск какого-то воспоминания мелькнул в ее глазах.

— В «Джессфильд Клубе». Приезжайте как-нибудь, — ответила Лида, но ни в словах, ни в тоне ее

не слышалось, что она действительно хотела бы видеть там Гогу. Вероятно, она говорила так всем, — чисто профессиональная черта, с которой Гога уже сталкивался. Но он был доволен и тем, что теперь, по крайней мере, она его запомнит, значит можно поздороваться при встрече. А там видно будет. Эх, денег свободных хотя бы долларов двадцать. Ведь «Джессфильд Клуб» место дорогое, туда на студенческие коврижки не закатаешься. Что ж, подождем лучших времен.

Обед затянулся часа на два с лишним, так что когда закончили, времени ехать в «Ренессанс» к Вертинскому по существу уже не оставалось. В городе действовал комендантский час и все бары, рестораны и прочие ночные заведения на иностранных территориях работали только до десяти вечера. Но компанию это не смущало.

— Ну, к деду, к деду! — скомандовал Жорка.

— Уже десятый час, — показал на часы Гога.

— Ну и что? Не утра же?

— Так пока дойдем, — закроют.

— Не закроют! — уверенно отмахнулся Жорка и добавил назидательно: — А прикроют. — И заметив, что Гога его не понял, пояснил: — Двери прикроют. Для посторонних. А мы еще поканителемся и дальше двинем.

Гога с сомнением покачал головой, но спорить не стал. Все было удивительно в этот вечер, все складывалось как-то не по правилам, но приятно: и знакомство с Лидой и Биби, и перспектива знакомства с Вертинским и, что было уже совсем поразительно, — Кипиани был при деньгах, при больших деньгах. Лишь намного позже Гога узнал, что Кипиани зарабатывал их способом, до которого охотников находилось немного.

Вниз по Вампу, на правом берегу реки, на много километров тянулись склады крупных шанхайских фирм. С возникновением военных действий склады эти оказались отрезанными от города и остались, по существу, без всякой охраны. Неизвестно было, есть ли там какая-нибудь власть, не разбежалась ли полиция. Страховые компании потери от военных действий не компенсировали и владельцы товаров рисковали многомиллионными убытками. Однако нашлись смельчаки, которые за очень большое вознаграждение брались вывозить то-

вары со складов буквально под огнем враждующих сторон. Жорка Кипиани был одним из них. Самым трудным считалось найти кули*, которые согласились бы рискнуть жизнью. Но когда вечно нуждающемуся грузчику за два-три дня работы предлагалась сумма, превышающая его трехмесячный заработок, — он не мог устоять перед соблазном. Команда для буксира и барж набиралась легче: моряки, «севшие на мель» в Шанхае, забубенные головушки, которым все трын-трава, были бы деньги да выпивка, шли охотно.

Но в тот вечер Гога обо всем этом не знал и глазам своим не верил, видя у вечно ходившего без гроша, вечно у всех занимавшего деньги Жорки Кипиани толстые пачки банкнот.

* * *

«Ренессанс» находился всего в трех кварталах, но поехали на рикшах. Там было полно народу, но Вертинский усадил компанию за свой столик, и все разместились, хотя и впритирку. Первый раз Гога видел знаменитого певца так близко. В тот вечер на Вертинском был обыкновенный синий двубортный костюм, но выглядел он не менее элегантно, чем во фраке. Красивым его нельзя было назвать, но сразу привлекали несомненный артистизм и барственность, а острый взгляд небольших темных глаз в сочетании с крючковатым носом делали его похожим на колдуна, от которого того и жди чего-нибудь необыкновенного. Колдуном он был, а необыкновенным — его искусство поэта, композитора, исполнителя в одном лице.

— Вот, Саша, познакомься. Это Гога... — Биби споткнулась и вопросительно посмотрела на своего протеже.

— Горделов, — подсказал Гога.

— Да, да, Горделов, — будто знала фамилию, но случайно запомнила, договорила Биби. — Стихи любит и, кажется, понимает.

Гога смутился и покраснел.

— Вот как? — с любопытством взглядываясь с высоты своего роста, отозвался Вертинский и протянул свою мягкую крупную руку. Гога с благоговением ее пожал. — А сами не пишете?

* Грузчики.

— Нет, что вы! — испугался Гога и хотел добавить, что у него сестра поэтесса, но почему-то застеснялся и промолчал.

Вертинский засмеялся.

— Нет за вами такого греха?

— Нет, — преодолевая смущение, принял шутку Гога.

— А я вот — грешен, — грассируя, вздохнул Вертинский и принял сокрушенный вид. У него были странные отношения с буквой «р». В одних случаях он ее почти не выговаривал, а в других, обычно на ударном слоге, наоборот, раскатывал очень звучно, по-воронье-му, будто деревянный шарик пускал по ступенькам.

Вертинский между тем сменил тему и обратился к Биби:

— А где же Лида?

— Она на работу поехала, — ответила та.

— Ты ведь обещала мне Лиду на сегодняшней вечер, — укоризненно протянул Вертинский.

— Уговаривала. Не удалось. Не могу, говорит, третий день подряд на работу не выходить. Хозяин сердится.

Вертинский грустно покачал головой.

— Что же это ты, друг мой, ерундовину спорола... Я так надеялся...

— Ничего, Сашенька, тебя сегодня Тоня утешит, — улыбнулась Биби и весело посмотрела на Гогу.

— Ну, конечно, утешит... Там Жорка зубами вцепился. Он ведь как пес, который грызет кость, — в такие минуты к нему не подходи, укусит!

Но долго горевать по поводу отсутствия Лиды Вертинский не стал.

— Ну, что пить будете? — обратился он ко всем.

— Дед, ты... — Жорка сделал выразительный жест. — Сегодня я хозяин. Варечка! — схватил он за руку проходившую мимо официантку. — Принеси нам, милая, горло промочить.

— Как всегда? — спросила официантка.

— Как всегда, — ответил Кипиани, но спохватившись, обратился к спутникам, — а может быть, что-нибудь другое?

— Нет, нет, — раздались возгласы, — как всегда.

— Совсем от рук отбился младший любимый,

— покачал головой Вертинский. — Своевольничает. Стариков не слушается. Просто беда с ним.

Гога в присутствии знаменитого певца снова почувствовал себя скованным и сидел молча, слушая и наблюдая. Через несколько минут вернулась официантка с подносом. «Как всегда» оказалось водкой, в которую каждый доливал по вкусу кока-колы и бросал кубики льда.

Вертинский в этот вечер свою программу уже закончил, но оставались еще цыгане Петровы. Вскоре они и вышли.

Гога никогда не считал себя поклонником цыганского искусства, вероятно потому, что не пил и состояние опьянения было ему неведомо. И сейчас он не понимал тех, кто так оживился при нестройных звуках резких, порою просто грубых, голосов цыган. Ему даже казалось, что у некоторых из присутствующих это все напускное: известно, что в свое время русская знать увлекалась цыганами, вот и считается хорошим тоном восхищаться ими. Но когда пошел танцевать Шурка Петров — вожак группы — маленький, жилистый цыган, Гога понял, что не все у них «липа». Шурка танцевал великолепно: пластика, легкость, техника и — главное в цыганском танце — превосходное чувство ритма подымали его выступление до уровня настоящего искусства. Больше всего импонировала его собственная неподдельная увлеченность танцем. Чувствовалось, что сейчас он не работает, а получает удовольствие.

Кипиани, улыбаясь, полез в карман и, достав из пачки крупную банкноту, сжал ее в комок, чтоб лучше летела, и швырнул под ноги танцорам. «Так, наверное, кутили в старое время у «Яра», подумал Гога, начиная проникаться общим настроением. Он даже налил себе водки почти полстакана, но вкус ее вместе с пахнущей целлулоидом кока-колой оказался настолько противным, что он не сумел заставить себя выпить стакан до дна, хотя ему вдруг захотелось слегка захмелеть.

— Вы делаете успехи, — одобительно улыбнулась с другого конца стола Биби, а Дальская, словно заметив его впервые, повернулась к нему и спросила:

— Вы танцуете? Давайте разомнемся немного, а то от этих пропойц толку не дождешься.

Кипиани, услышавший ее, сделал страшное лицо и

показал кулак, а Карцев все с тем же серьезным выражением лица, с которым он пускал свои реплики, проговорил, сокрушенно покачивая головой:

— Вот вам, пожалуйста. Пустили козу в огород. У нас тут тихий, семейный вечер, а он Тоню совращать вздумал.

Несмотря на то, что веселье было в разгаре, ресторан в половине одиннадцатого все же закрыли: с одиннадцати вечера движение по улицам разрешалось только по пропускам и на этот счет у французов было строго. Гога с сожалением выходил из «Ренессанса» — время прошло быстро, и когда еще он попадет в такую компанию? Но не тут-то было. Никто и не собирался расходиться.

Стоя на тротуаре, компания обсуждала, куда ехать дальше. Назывались места, находящиеся в западных, китайских районах города, где комендантский час соблюдался не так строго.

Кто-то, очевидно, желая угодить Вертинскому, назвал «Джессфильд Клуб», но он неожиданно отверг эту идею. Он же отклонил и «Фаррен» — самый дорогой ночной клуб со стриптизом, причем выдвинул своеобразный довод:

— Я люблю, когда женщина рррраздевается для меня. Когда же она делает это для всех одновременно, я не нахожу в этом ничего интересного.

К огорчению Гоги, еще не видевшего стриптиза, «Фаррен» сорвался.

Поехали в «Аризону» — уютное место, где играл небольшой оркестр, составленный из европейских музыкантов.

— Терпеть не могу американский джаз, — говорил Вертинский. — Он меня выводит из равновесия. Я гложу от него.

* * *

К ноябрю госпиталь при университете закрыли. Бои теперь шли далеко в глубине страны, новые раненые не поступали. Из старых — некоторые поправились, их выписали, иные умерли, третьих распределили по другим госпиталям. Помещения были продезинфицированы, заново побелены, и занятия в университете возобновились.

Для Гоги это имело особое значение, он был на последнем курсе, и когда думал о предстоящих экзаменах, ему становилось не по себе. В университете «Аврора» была принята совершенно особая система: выпускникам гуманитарных факультетов предстояло сдавать все устные предметы в один день. Подразумевалось, что должен быть такой момент в жизни студента, когда все знания, полученные за годы обучения, должны быть при нем. Конечно, система среднего балла облегчала эту, на первый взгляд, непосильную задачу: каждый заранее рассчитывал, на какую оценку может надеяться по той или иной дисциплине и, следовательно, каковы шансы на средний балл «11» — т. е. минимальный проходной.

Гога делал ставку на исторические, политические и дипломатические науки, зная, что в экономических он слаб. Они ему казались скучными и он всегда уделял им мало времени и внимания.

В оставшиеся месяцы заниматься приходилось много, и Гога будние вечера просиживал в читальном зале университетской библиотеки, чтоб иметь под рукой все необходимые материалы. Да и атмосфера там располагала к сосредоточенности, серьезным размышлениям, углублению в занятия.

Но вне стен университета шла другая жизнь — суетная и грешная, богатая впечатлениями и событиями жизнь огромного, сложного города. И противостоять ее пряным соблазнам Гога был не в силах, да и не очень старался. Он все-таки не сомневался, что университет окончит, а раз так, то и работу найдет. Это казалось само собой разумеющимся.

Он плохо знал жизнь.

Пока же Гога, усиленно занимаясь, уделял немало времени и развлечениям.

Больше всего любил он бывать в «Ренессансе». Там всегда можно было встретить знакомых и, прежде всего, Жорку Кипиани. Деньги у него уже кончились, новые шальные заработки, подобные тем, которые другого обеспечили бы на несколько лет и которые он умудрился просадить за считанные месяцы, — не подворачивались, но Жорка не унывал. Это был человек, для которого не существовало таких понятий, как «мое» и «твое». Он брал деньги налево и направо, ни на мину-

ту не задумываясь, как будет их отдавать, и ему охотно давали, не ожидая возврата: помнили его щедрость в тот короткий период, когда он платил за всех. Но зато ему и в голову бы не пришло требовать с кого-нибудь, кто был должен ему. Он обычно и не помнил, кому дал и сколько, а если какой-нибудь щепетильный должник лез в карман, чтоб рассчигаться, Жорка, смерив его жалостливым взглядом, выпаливал что-нибудь вроде:

— Ты что? С ума сошел? Вот псих! — и мог при этом еще и по лбу хлопнуть. Но на эту напускную грубость никто не обижался и друзей у Жорки был весь русскоязычный Шанхай. Впрочем, немало завелось у него приятелей и среди иностранцев, особенно американцев, которым импонировал этот бесшабашно смелый, щедрый и красивый «кавказский принц».

Вертинский же любил его действительно как родного, баловал и прощал такие проделки, за которые другого прогнал бы с глаз долой. Вообще Вертинский любил молодежь. Гога испытал это на себе. Как-то днем он издали увидел артиста на авеню Жоффри. Эта была их первая встреча после знакомства. Статный, элегантный, знаменитый певец неторопливо шел навстречу с задумчивым видом и, казалось, ничего вокруг не замечал.

«Не буду здороваться, — решил Гога. — У него таких знакомых, как я — тысячи по всему свету. Вряд ли он меня запомнил».

Но когда они сблизились, Гога попал в поле зрения Вертинского, и тот очень приветливо поклонился. Гога страшно смутился и, покраснев, пробормотал:

— Здравствуйте, Александр Николаевич. Простите меня, я вас не заметил... — эта неловкая фраза еще усугубила неловкость Гоги, он готов был сквозь землю провалиться, но Вертинский, снисходительно и ободряюще улыбнувшись, ответил:

— А я вас заметил еще издали. Почему вас не видно?

Что было сказать Гоге? Что он рад бывать в «Ренессансе» хоть каждый вечер, да это не по карману? Сделав озабоченное лицо, Гога ответил:

— Я очень занят. Много заниматься приходится. Я ведь в этом году заканчиваю университет.

Вертинский всегда проявлял полное равнодушие ко

всему, что находилось вне сферы его интересов, и потому на ответ Гоги прореагировал только коротким:

— Да? — и тут же, явно понимая истинную причину редких посещений Гогой «Ренессанса», добавил: — Вы пораньше заходите, когда народу мало. И прямо за мой столик. Стихи почитаем. Вы Поплавского знаете что-нибудь?

— Нет, — готовый провалиться сквозь землю, ответил Гога. Когда-то еще в харбинской Чураевке он слышал доклад об этом поэте, о его трагическом уходе из жизни. У Лены были его стихи, мог бы переписать, а вот, не удосужился. Теперь Вертинский о нем говорит, значит стоит того Поплавский. А он, Гога, никого из парижских поэтов не знает, ни Поплавского, ни Георгия Иванова. Только недавно прочел впервые Ходасевича. Куда мне общество Вертинского!

— Ну вот видите, — сказал артист как бы с легкой укоризной. — Очень талантливый был поэт.

— Вы его знали?

— Он меня знал, — с упором на слово «он» определил пропорции Вертинский с выразительной улыбкой и внимательно взглянул на Гогу: понял ли? Тот понял. Вертинский отметил это с удовлетворением.

Ему нравился этот юноша, столь явно благоговевший перед ним. Как ни привык Вертинский к поклонению почитателей, он никогда не в состоянии был оставаться равнодушным к внешним проявлениям своей славы. Его уникальное творчество, не имевшее предшественников ни в России, ни где-либо еще, складывалось почти в равной мере из актерской, поэтической и музыкальной одаренности. Богатых вокальных данных у него никогда не было, пению он не учился и даже нот не знал, а считался певцом. И хотя, как всякий истинный художник, Вертинский внутренне был убежден в подлинности своего искусства, было оно столь необычно и беспрецедентно, что ему требовалось непрерывное подтверждение извне. И вот для этого артисту гораздо нужнее было мнение скромного юноши, робевшего от одного его взгляда и допускавшего неловкости, чем долгие и бурные аплодисменты, цветы и подарки богатых коммерсантов и отнюдь не платонический успех у их холеных, сверкающих бриллиантами жен.

Однажды они сидели в заднем зале «Ренессанса»

и пили: Вертинский — коньяк, Гога — густое и терпкое марокканское вино. Гога, как и советовал Вертинский, зашел совсем рано. Они были одни в зале и никто не мешал их беседе.

— Вы какую из моих песен больше любите? — спросил неожиданно Вертинский.

Гога растерялся. Вопрос показался бы ему кошунственным, если бы не был задан самим артистом. Что нравится больше? Как ответить? Все нравится, все волнует, окутывая душу каким-то особым состоянием возвышенной грусти, очищающей и возносящей над повседневностью.

Гога так и ответил:

— Мне все нравится, Александр Николаевич. Все, что вы поете.

— Ну а все же? — настаивал Вертинский. Он сам понимал, что на подобный вопрос ответить Гоге трудно: ведь этот мальчик, ценитель хотя и чуткий, но безоговорочный. Таких знавал по прежней своей жизни, по более ранним встречам Вертинский. И все же ему почему-то хотелось услышать конкретный ответ.

Гога на минуту задумался.

— «Игуменя», «Бал Господень», «Концерт Саратэ», — выговорил он наконец не без опаски: не упускает ли что-нибудь важное, не обидит ли своим ответом артиста.

Вертинский всегда очень серьезно и строго относился к своему творчеству. Ни разу в жизни не позволил он себе исполнить вещь, которую считал не полностью завершенной и отделанной во всех деталях (что не мешало ему продолжать совершенствовать их по мере нового исполнения), которая не прозвучала бы внутри него так, что удовлетворяла его самого. И потому у него не было песен, которые он бы считал слабыми или неудавшимися. Те, что у него не выпевались, он просто не исполнял и никому о них не рассказывал. Но все же некоторые его самого трогали больше, и все три, названные сейчас, были из их числа. Услышав Гогины слова, он внимательно посмотрел ему в лицо своим острым взглядом колдуна. Потом слегка усмехнулся и сказал со вздохом:

— Умное у вас се'дце, Гогочка!

Гога вспыхнул. Он ведь не старался угодить, он

действительно очень любил эти песни, и то, что Вертинский одобрил выбор, наполнило его гордостью. Вертинский помолчал немного и вдруг, словно спохватившись, спросил живо:

— Но позвольте. Я ведь никогда не пою теперь «Бал Господень». На пластинке это не то...

— Я представляю себе, как бы вы ее исполнили, — сказал Гога просто.

Вертинский с изумлением посмотрел на собеседника. «В нем что-то есть, — подумал он. — Какая странная и вместе с тем естественная фраза. Конечно, «Бал Господень» можно петь только так, а не иначе, и он, видите ли, представляет это себе. Ну и ну!». И несколько неожиданно для самого себя Вертинский сказал:

— Я вам спою «Бал Господень»...

— Сегодня? — обрадовался Гога.

— Нет. Здесь это петь нельзя. В конце'те. В ближайшем конце'те. Обещаю.

Гога не ответил ничего и только благодарно посмотрел на артиста. Вертинский же через несколько минут уже пожалел о своих словах. Он давно не пел песен прежнего репертуара, тех самых, которые принесли ему славу в предреволюционной России, таких как «Ваши пальцы пахнут ладаном», «Безноженка» и тот же «Бал Господень». В свое время они находили наибольший отклик у слушателей в созревшей для крушения империи. Когда же эти круги русского общества, потерпев окончательную катастрофу, оказались за пределами России, они стали искать причины своего несчастья вовне, что всегда проще, чем подняться до осознания собственных ошибок. И среди виновников они числили Вертинского, обвиняя его в упадочничестве, аморальности, пессимизме, одни не желая, другие будучи не в состоянии понять, что истинный художник всегда в той или иной форме выражает свою эпоху и что винить Вертинского в упадочничестве это все равно, что уроду злиться на зеркало или больному на врача за поставленный диагноз.

Эти нападки эмиграции Вертинский в свое время воспринял очень болезненно, постепенно создал новый репертуар и старые песни перестал исполнять, хотя его об этом нередко просили. Он также никогда не выхо-




дил на сцену в костюме Пьеро и даже вспоминать об этом не любил. Он был слишком тонок, чтоб говорить прямо, но всем своим видом, манерой держаться, строгим фраком, в котором неизменно появлялся перед публикой на концертах, давал понять, что с прошлым в своем творчестве покончил бесповоротно. Но это была лишь вынужденная позиция, потому что Вертинский не мог не понимать, что прежние песни — неотъемлемы от его искусства и без них невозможно оценить его творчество в целом.

Гога не забыл обещания артиста и на ближайший концерт пришел в радостном ожидании. Уютный, небольшой зал «Лайсеума» — театра в самом центре французской концессии, как всегда, был полон. Гога успел заранее приобрести билет в одном из первых рядов, чуть сбоку: именно так он любил наблюдать за артистом, которого надо было не только слушать, но и видеть. Пластический облик Вертинского тоже влиял на восприятие его искусства: лоб очень высокий, суживающийся от висков к темени и потому не давящий на лицо, не нависающий над ним, а как бы скользящий кверху; волосы, непышные, блекло-рыжеватые, гладко прилизанные, не играют никакой роли в наружности артиста и лишь четкой линией завершают его облик сверху так же, как по бокам силуэт его очерчивается изысканными линиями безупречно сидящего фрака. Необычайно выразительные руки с живыми говорящими пальцами, не такими длинными и красивыми, как многим кажется на расстоянии, но умеющими передать тот зрительный образ, который артист хочет донести до зала.

Песня следовала за песней, и, как всегда, каждая исполнялась с тем совершенством, на какое только был способен артист такого дарования. Но Гога ждал обещанного. Неужели Александр Николаевич не выполнит обещания? Или забыл о нем?

Гога знал, что в концертных программах Вертинский поет лишь то, что сам хочет, и просить его возгласом с места — бесполезно. Даже в ежевечерних выступлениях в ресторане он редко откликался на такие заказы. И тем не менее Гога очень надеялся, что Вертинский сделает для него исключение и споет «Бал Господень». В этом состояло Гогино честолюбие: ему

После них, как неизбежность, воспринимались строки: 

Шли года, вы поблекли, и платье увяло... —

и дальше мелодия слов, повествующих о конце этой жизни пропевалась с грустной иронией, умеряющей надрыв заключительных строк.

Вертинский умолк, и некоторое время в зале царил тишина. А он стоял, оставаясь в образе, скорбный и строгий, потом сдержанно поклонился, как кланяются друг другу люди на похоронах близкого человека, круто повернулся и пошел за кулисы.

И только тогда раздались аплодисменты, но сдержанные. Бурные были бы сейчас неуместны, и самые толстокожие понимали это. Чем-то иным хотелось выразить свою благодарность артисту. Вертинский и тут проявил вкус: он больше не вышел раскланиваться. Погасли огни рампы, и сцена погрузилась во мрак. Лишь на рояле, никем не замеченная раньше, светилась маленькая лампа под малиновым абажуром, бросавшая мягкие блики на снежно-белую клавиатуру инструмента и оставленные на пюпитре ноты.

Как из церкви, выходил Гога с концерта. Кругом было немало знакомых. Люди окликали друг друга, шутили, делились впечатлениями, сговаривались, куда ехать дальше, но ему не хотелось ни самому говорить, ни слушать кого-либо. Хотелось подольше удержать в себе ту возвышенную чистоту и благородство чувств, которые вызвали в душе соприкосновение с истинным искусством.

Машинально Гога двинулся в сторону авеню Жоффри, но вскоре остановился в нерешительности. Домой сейчас идти он не мог: остаться одному в маленькой холостяцкой комнате? Нет, это не подходило для его настроения. Гога испытал неодолимую потребность увидеть Вертинского сегодня же. Только увидеть, взглянуть на него издали, больше ничего. Где он сейчас? Наверное, еще переодевается, переводит дух. Зайти к нему? Но пропустят ли? Пропустить-то пропустят, да удобно ли? Вокруг него сейчас, наверное, близкие люди. Но я ведь тоже с ним знаком... И он так приветлив со мною. Мало ли что приветлив, он хорошо воспитан и потому приветлив, как со всеми... А впрочем, не со всеми. Когда ему кто-нибудь не по душе, Вертинский

не дает себе труда скрывать — лицо его принимает брезгливое или скучающее выражение. Со мною у него такого выражения не бывает. И все же это не значит, что надо навязывать ему свое общество.

Придя к такому заключению, Гога стал неподалеку от артистического выхода с тем, чтоб только кинуть взгляд на артиста, когда тот выйдет.

Пока Гога размышлял об этом, дверь артистического выхода открылась, и в освещенном проеме показалась изящная женская фигура в черном вечернем платье и коротком жакете из чернобурых лисиц. Гога узнал Биби. Ее светло-золотистые волосы были затейливыми кольцами уложены на голове. Прическа не шла к ней, особенно к вздернутому носу, а глаз — главного украшения ее лица — сейчас видно не было. Гога с досадой подумал: неужели сама не видит, что такая вычурность — не ее стиль?

Биби, держа между пальцами длинный мундштук из слоновой кости с дымящейся сигаретой, на минуту задержалась на пороге и, обернувшись, громко позвала своим грудным, слегка хрипловатым голосом, составлявшим, как считали многие, одну из главных особенностей ее своеобразного обаяния:

— Ну, где ты, Саша?

Гога еще глубже отступил в тень, но его движение как раз и привлекло внимание молодой женщины. Она заметила и узнала его.

— А, Гога! Что вы там прячетесь? — спросила она оживленно и нараспев, делая два шага в его сторону и тоже попадая в тень. Едва только Гога различил взгляд ее выразительных, с веселыми искорками глаз, увидев эту скошенную вбок улыбку, которая другую бы портила, а Биби делала особенно привлекательной, он забыл и ее неудачную прическу и собственное намерение остаться незамеченным. Наоборот, он почувствовал себя легко и свободно.

— Я не прячусь, — ответил он, шагнув ей навстречу и, когда она протянула ему руку, склонился и поцеловал, стараясь, чтоб движение это получилось не принужденным, что, впрочем, ему удалось не вполне. Однако Биби, оценив его галантность, с одобрением посмотрела на него и, заметив вышедшего наконец Вертинского, весело заговорила:



— Смотри, Саша, кто тут! Еле поймала... Прятался вон за тем столбом!

Биби явно преувеличивала, и Гога со смущенной улыбкой только отрицательно качал головой.

— Так вы все-таки были в концерте? — спросил Вертинский, поздоровавшись. Гога и раньше замечал, что в сочетании со словом концерт он упорно ставит предлог «в», а не «на». — Я вас что-то не заметил.

— Был, конечно, Александр Николаевич... — сказал Гога, не зная, уместно ли будет благодарить сейчас за «Бал Господень».

— А ты разве со сцены видишь, кто есть, кого нет? — спросила Биби.

— Я все вижу! — многозначительно подняв палец и остро сверкнув глазами, ответил Вертинский, и непонятно было, говорит ли он всерьез или продолжает игру в великого, мудрого, всеведующего деда, от которого ничто не укроется. Потом, обращаясь к Гоге уже другим тоном, он спросил: — Почему же вы не зашли ко мне в антракте? Я бы вас с хорошенькой женщиной познакомил.

«Эх, сваял дурака, оказывается, можно было зайти!» — подумал Гога.

— Гоге не нужны хорошенькие женщины, — без ехидства произнесла Биби. — Он любит умных женщин. Правда, Гога?

Гога не знал, что ответить, и только улыбался, сам в это время, однако, думая: «Все же хорошенькие нужнее». А Биби, уже забыв про свой вопрос, продолжала:

— Вы куда сейчас?

«Действительно, куда я сейчас?» — повторил про себя этот вопрос Гога, а Вертинский предложил:

— Поедем с нами!

— Куда? — машинально вырвалось у Гоги.

— Мы ко мне едем, — объяснила Биби. — Вот покормлю деда, а то он совсем отощал на казенных харчах. Потом стихи будем читать.

Гога ушам своим не верил: можно ли было мечтать о лучшем завершении вечера? Вертинский тем временем с уморительной серьезностью подтвердил:

— Голодным сижу. — Лицо его приняло соответствующее выражение. — Меня хозяин в «Ренессансе» в черном теле держит.

В первый момент Гога, не привыкший еще к манере Вертинского и его окружения говорить с серьезным видом заведомо неправдоподобные вещи, поразился, но уже в следующую минуту понял, что это обычная игра: на голодающего Вертинский никак похож не был, да и кормили в «Ренессансе» отлично.

— Ну так что? — задал вопрос Вертинский и, уже не слушая ответа, добавил: — Так, значит, едем. Вы впе'ед садитесь, а то втрроем сзади тесно будет.

Вертинский указал на «рено» с важным шофером.

— Да, да, поехали с нами! — оживленно присоединилась к приглашению Биби. — Не только стихи будут. Ганна Мартинс будет...

Они подошли к машине. Важный шофер в ливрее уже стоял на тротуаре, почтительно придерживая открытую дверцу. Он и Гоге ухитрился открыть переднюю. Все уселись, и «рено» французского банкира плавно тронулся и бесшумно поплыл по затихающим к ночи улицам.

* * *

У Биби был сервирован холодный ужин: телятина, паштет из гусиной печени с каенским перцем, артишоки и великолепно венчавший трапезу острый французский сыр, название которого Гога не знал. Биби и Вертинский пили коньяк, причем Вертинский по своей привычке обсасывал после каждого глотка ломтики лимона, Гога предпочел прохладное «Шабли».

Кончали ужинать, когда в прихожей раздался звонок. Биби уже отпустила боя и сама пошла открывать дверь. Через минуту она вернулась в сопровождении высокой молодой женщины с широко раскрытыми синими глазами и черными волосами, волнисто стлавшимися по плечам. Ганна Мартинс — узнал Гога, видевший ее прежде на собрании Чураевки в Харбине. Сейчас она показалась ему еще красивее.

«У тебя глаза удивленные, синие-синие,» — вспомнилась ему строка из ее же стихотворения.

— Ганночка, где же вы? Мы уже надежду поте'яли, — заговорил Вертинский, целуя ей руку. — А меня так и не собррались послушать...

— Не удалось вырваться. Только что репетиция

закончилась, — ответила Ганна, бросив вопросительный взгляд на почтительно вставшего Гогу.

— Это наш приятель, Гога... — Биби хотела назвать и фамилию, но не вспомнила, и вместо этого добавила: — Любит и хорошо чувствует стихи.

Ганна любезно подала Гоге свою довольно крупную руку. «Поцеловать?» — мелькнул у Гоги вопрос. — «Нет, неудобно!» — ответил он сам себе и неловко, пожалуй, слишком крепко пожал ее.

«Кого он мне напоминает?» — думала в это время Ганна Мартинс, не догадываясь, что перед ней брат ее приятельницы Лены Горделовой.

— А что готовите? — спросил Ганну Вертинский.

— «Цветок Гаваев», — ответила Ганна. — У меня там эффектный номер. Приходите на премьеру!

— А вот возьму и не пойду, не пойду! — капризно тянул Вертинский. — Назло вам не пойду.

После ужина перешли в гостиную, уютную комнату с мягким светом торшера, выделявшим лишь часть широкой тахты, одно кресло и курительный столик с медным китайским прибором на нем. Большая же часть комнаты оставалась в тени. Здесь в кресле и поместился Гога, в то время, как обе женщины, скинув туфли, уселись с ногами на тахте, опираясь о вышитые атласные подушки, а Вертинский, пододвинув к себе курительный столик, поставил на него недопитую бутылку коньяка и блюдечко с ломтиками лимона.

— Ну что же, почитаем? — спросила Биби, наклонившись вперед, чтоб поставить свою рюмку на столик. Она глубоко затянулась сигаретой в мундштуке. — Саша, прочти что-нибудь свое. Непетое...

— У меня ничего нового нет. И я устал. Лучше послушаю. Вот вы, Ганна. Вы так редко печатаетесь.

— Я и пишу редко. Так, балуюсь.

В устах другой эти слова прозвучали бы кокетством, но Ганна — это успел заметить Гога — говорила просто, порой не очень складно, зато всегда искренне и серьезно.

— И напрасно, и напрасно, — укоризненно качал головой Вертинский. — Я помню у вас описание Рассвета:

Потянул соленый свежий ветер.
Будет ясно. Все светлей вдали,
Словно кто-то дымчатые сети
Стягивает медленно с земли.



— Ой, какая прелесть! — закричала Биби и даже в ладоши захлопала. И тут же, погрузившись в задумчивость, повторила:

Словно кто-то дымчатые сети
Стягивает медленно с земли.

Гога смотрел на Ганну из полумрака: как она воспринимает такие лестные отзывы? Но Ганна сидела спокойно и серьезно, ее ничуть не смутила похвала собеседников. Она была не способна фальшивить и не стала отнекиваться, так как сама считала эти строки удачными. И в ней теперь возникло желание прочесть одно свое стихотворение, которое она еще никому не показывала. И потому, когда Биби обратилась к ней:

— Ну, что же, Ганна?..

Она ответила:

— Хорошо. Вот. Это у меня последнее... Не знаю... Вот... «Северное племя»... так называется...

Она стала читать, не очень выразительно, не заботясь об эффектах. Впечатление было такое, будто она старается лишь не споткнуться, забыв какое-нибудь слово, и вместе с тем чувствовалось, что сама прислушивается к стихотворению:

Мы не ищем счастья, мы не ищем,
Это не отчаянье, не страх.
Пусть в степи безглазый ветер свищет,
Пусть заносы снежные в горах.
Пусть в холодном сумрачном рассвете
Видим мы — занесены следы,
В наших избах все ж смеются дети,
Все ж над избами струится дым.
Пусть за все терновою наградой
Нам не рай обещан голубой,
А тоской пронизанная радос

И охваченная счастьем боль.

Снег... Ветра... Коротким летом — травы.

Все мы грешны, нет средь нас святых.

Но мы знаем, знаем — наше право

Протоптать глубокие следы.



Ганна кончила. Все молчали. Гога, которому стихотворение очень понравилось, не считал себя вправе высказываться первым. Он не завидовал Ганне, но с горечью думал, что сам никогда не сможет так написать и что здесь, среди людей творческих, он находится не по праву. Вертинский сидел ушедший в себя, видимо, повторял какие-то строки из только что услышанного стихотворения. Потом он встал, приблизился к Ганне и, взяв ее руку, поцеловал:

— Вы настоящая поэтесса. Почему вы так мало пишете?

Ганна спокойно выслушала новую похвалу и, смущенно улыбнувшись, ответила:

— Я — лентяйка.

Вмешалась Биби:

— Дело не в этом, Саша. Ганна много работает. Утром сама занимается, вечером репетиции.

— Ну зачем же еще утрром? — удивился Вертинский. — Разве репетиций недостаточно?

— Нет. Я ведь только недавно снова начала... Танцевать... когда-то училась в Харбине. Потом бросила. Теперь вот вспоминаю. Трудно, приходится восстанавливать...

— Но у вас же хорошо получается. Многие только из-за вас ходят.

Вертинский преувеличивал, давая такой пренебрежительный отзыв об оперетте. Труппа в Шанхае была сильная. Но он не любил там некоторых артистов, особенно премьера Купавина, обладавшего прекрасным баритоном и эффектной внешностью, и в таких случаях бывал несправедлив. Ганна ответила как всегда именно то, что думала, без доморощенной дипломатии:

— Ну, это не так... Там есть хорошие артисты... Простак Толин, например, Соколовская — тоже... Другие.

Только на этом месте она заставила себя остановиться, чтоб не назвать Купавина. Она знала, что это будет неприятно Вертинскому. Острый момент был счастливо избегнут, и Вертинский вернулся к прежней теме:

— И все-таки вам надо писать, Ганна. И книжку нужно издать. Я вам дам название...—Вертинский на минуту задумался. — Вот, есть: «Печальное вино». Здо'ово я придумал, а?

Было что-то детски-наивное в этом восхищении собственной выдумкой, но именно оно и вызывало сочувственный отклик: ведь книги еще не существовало, да и будет ли она? Хватит у Ганны стихов на сборник? Восхищение Вертинского было такое искреннее, что и Биби поддержала идею и сама Ганна заинтересовалась. А Вертинский оживился и начал строить планы.

— У вас, наверное, денег нет на книгу. Я достану. Скажу кому-нибудь из купцов: пусть рраскошеливаются. Сколько надо, Биби, как ты думаешь?

— Понятия не имею, — с особым распевом на звуке «я» протянула Биби, улыбаясь. — Нашел кого спрашивать. Я, сколько чулки стоят, не знаю.

— Ничего. Выясним. С того места, куда я поставлю ногу, — выйдет легион. Ну не легион, так сто долла'ов.

Все засмеялись. Это опять был Вертинский, которого успел узнать Гога: актер до мозга костей, душа общества и центр любой компании, все время иронично играющий в им же самим придуманную игру, но в отличие от плохих актеров, верящих в принятую на себя роль, а порой и не замечающих ее, все время остающийся как бы в стороне, давая тем самым понять, что это игра — не больше.

Еще некоторое время обсуждали вопрос о книжке, но так как никто ни на один конкретный вопрос ответить не мог, то разговор иссяк.

— Ну что же, почитай еще что-нибудь, Ганна, — заговорила Биби, меняя тему.

— Нет, нет. Я не умею. У меня ничего нет больше. Лучше ты...

— Биби, прочти Георгия Иванова. Последнее, — подсказал Вертинский.

Биби оживилась. Вертинский попал в точку: ей хотелось читать, и компания была подходящая.

— Хорошо, — сказала она, кладя мундштук с сигаретой на пепельницу.

Оттого и томит меня запах травы,
Что листва пожелтеет и роза увянет,
И твое несравненное тело, увы,
Полевыми цветами и глиною станет.
Даже память исчезнет о нас, и тогда
Оживет под искусными пальцами глина,
И, журча, потечет ключевая вода
В золотое, широкое горло кувшина.
И другую, быть может, обнимет другой
В час назначенный, в тайном углу у колодца,
И с плеча обнаженного прах дорогой
Упадет и, звеня, на куски разобьется.

Биби читала своим хриловатым голосом, как всегда, больше заботясь о музыкальности стиха, но не забывая и о смысле, и это делало ее чтение проникновенным и выразительным. Закончив, она взяла с пепельницы длинный мундштук с не погасшей еще сигаретой и сделала глубокую затяжку. При этом она почти закрыла глаза, и Гога, следивший за ней, подумал, что так, наверное, затягиваются наркоманы. Он был недалеко от истины, потому что Биби случалось баловаться опиумом, особенно когда она оставалась вдвоем с Лидой Анкудиновой.

— Давайте прикончим коньяк, — заговорила, оторвавшись от сигареты, Биби. — Гога, что это вы там спрятались и голоса не подаете? А ну, придвигайтесь ближе! Вот, вот. Еще, еще. Где ваша рюмка?

Гога не без смущения, но и с удовольствием от того, что о нем все-таки не забыли, вдвинул свое кресло в освещенный круг.

— Я знаю, вы не пьете, вы спортсмен, — снисходительно говорила Биби, прощая ему по доброте душевной такую слабость, как воздержание от спиртных напитков. — Но одну же рюмку можно выпить? Вот как раз на одну рюмку только и осталось. Прекрасный коньяк. Ласкает горло.

Видя, что Ганна с улыбкой наблюдает за ним, Гога почувствовал себя задетым:

— Нет, почему же? Я могу выпить не меньше других. Но просто я не люблю. Мне не доставляет удовольствия. — Проговорив последние слова, он осекся. Получалось не очень вежливо — его угощают, а он заявляет хозяйке, что ее угощение ему не нравится. И желая исправить свою оплошность, он взял рюмку и отпил глоток:

— Вот это — другое дело! — одобрила Биби. — Ну, что вам почитать еще?

Гога задумался. Он так мало знал парижских поэтов, только фамилии слышал, и сейчас боялся попасть впросак, назвав кого-нибудь не в духе сегодняшней компании. Гога уже пришел к пониманию, что каждый человек хорош на своем, ему присущем месте, и что вещи, уместные в одной обстановке, оказываются иногда совсем некстати в другой. Такое понимание и есть чувство стиля.

— Прочитайте Смоленского, что-нибудь. Помните, тогда Лида о нем говорила, — ответил он неуверенно.

— Смоленского? — задумчиво и как бы с недоумением протянула Биби. Она явно не помнила, когда и что могла говорить Лида о Смоленском. — Я помню наизусть только одно его стихотворение: «Ближнему». Вы это хотите?

Гоге не оставалось ничего иного, как подтвердить.

— Хорошо. — Биби сделала паузу, не то припоминая строки стихотворения, не то стараясь проникнуться соответствующим настроением. — Ну вот:

Какое дело мне, что ты живешь?
Какое дело мне, что ты умрешь?
Ты для меня совсем чужой, совсем,
Ты для меня невидим, глух и нем.
И чем ты жил все дни и как ты жил,
Я никогда не знал или забыл.
И если завтра провезут твой гроб,
Моя рука — не перекрестит лоб!
Но странно мне подумать, что и я
Вот так же безразличен для тебя,

И что любовь моя, мои мечты и сны
Тебе совсем не нужны и смешны,
Что я везде, — и это видит Бог! —
Так навсегда, так страшно одинок...



Биби замолчала, и вдруг Вертинский продолжил:

И если завтра прровезут мой гроб, —
Твоя ррука — не перекрестит лоб!

— У Смоленского этого нет, — удивленно сказала Биби. — Он что, потом добавил?

— Это я добавил, — сказал Вертинский очень просто.

Гога мысленно только руками развел: действительно, как нужны эти строки, как они опоясывают мысль. Будто в венке сонетов.

Ганна Мартинс сидела некоторое время молча, опустив глаза. Потом, стряхнув с себя оцепенение, задумчиво покачала головой.

— Страшно, — только и произнесла она.

— Что страшно?

— Жить. Жить страшно, — повторила Ганна и повела плечами, будто чувствуя озноб.

Домой возвращались вместе, так как всем было в одну сторону. Шли пешком, идти было недалеко. Вертинский был по-прежнему непривычно молчалив, но уже лишь по инерции, так как, проведя вечер у Биби, отдохнул.

— Александр Николаевич, вы сегодня не в духе, — заговорила Ганна. — Вы, наверное, очень устали во время концерта.

— Это вот он виноват, — уже в своем обычном тоне иронической игры ответил Вертинский, указывая на Гогу. Тот вздрогнул от неожиданности и посмотрел: всерьез ли говорит дед? А тот продолжил: — Заставил спеть «Бал Господень».

У Гоги отлегло от сердца, а Ганна с огорчением воскликнула:

— Как? Вы сегодня пели «Бал Господень»? Я всегда мечтала послушать... Не на пластинке... а чтоб видеть. Чтоб вы сами...

— Вот и надо было прийти!

— Если б знала...

— А, значит была возможность? — поймал Ганну на слове Вертинский и хитро улыбнулся. — А вы не п'ишли. Так вам и надо!

— Нет, я хотела сказать... Я бы как-нибудь. Я действительно не могла. Но... в общем пришла бы, — окончательно запуталась Ганна.

Оба ее спутника рассмеялись. Гоге было приятно, что и Ганне, оказывается, очень нравится эта песня. К тому же он явно видел, что Вертинский отнюдь не в претензии на него, скорее наоборот. Публика хорошо приняла очень давно не исполнявшуюся вещь из репертуара, о котором Вертинский не любил напоминать, но сам ценил высоко. Значит, ничего страшного, можно будет иногда вставлять в программы концертов то одну, то другую из старых песен.

А у Гоги выплыла на поверхность сознания мысль, вернее мечта, давно лелеемая, но казавшаяся несбыточной. А сейчас он почувствовал, что момент благоприятный и надежда на осуществление есть. И, внезапно остановившись, он произвольно схватил Вертинского за руку, повыше локтя и выпалил:

— Александр Николаевич! Дайте концерт в костюме Пьеро! Ведь мы, молодые, столько слышали об этом...

Вертинский замахал руками:

— Нет, нет! Что вы такое п'идумали? И слышать не хочу!

Для него и в самом деле явилась полной неожиданностью просьба Гоги. Но Ганна присоединилась к ней:

— Действительно, Александр Николаевич, ведь это же классика! Классика Вертинского. Старики видели, а мы — нет. Это несправедливо. Хоть один раз!

Как и все артисты, Вертинский был тщеславен и больше всего на него подействовало слово «классика». Он сам еще не знал, поддастся ли пылким убеждениям Ганны и Гоги, но с этой минуты мысли его обратились к давнему прошлому, и он подумал, что, может быть, напрасно так огульно отверг свой былой репертуар. Мало ли что не нравится людям, «ничего не забывшим и ничему не научившимся». А вот — поколение, вырос-

шее вдали от России, приемлет его всего целиком. И, наверное, стоит прислушаться к ним.

Человеку всегда кажется обоснованным мнение, которое для него лестно.

* * *

Сложные, противоречивые чувства владели Гогой в эти недели. Он считал СССР своей родиной, хотя далеко не все в его отношении к этой стране было ясно даже ему самому. Но симпатии безраздельно принадлежали народу, строившему новую жизнь: справедливую, чистую и честную. Что это так, он был твердо убежден.

И вот СССР заключил договор о ненападении с Гитлером. Германия — почти союзник. Правда, в Германии — Гитлер, фигура одиозная, и все его окружение — птицы одной породы.

По другую сторону были малосимпатичные англичане — высокомерные и безжалостные с обездоленными и слабыми, но при первом же серьезном кризисе бросившие своих союзников. Зато союзниками этими были французы — народ, с детства близкий Гоге. В самом имени — Франция заключалось для него какое-то магическое очарование, нечто благородное, доброе и прекрасное. А ее герои и полководцы: Жанна д'Арк, Дюгеклен и Баярд, Тюренн и Кондэ, плеяда, озарившая революцию: Пишегрю и Гош, Массена и Моро, Жубер, Марсо, Дезэ, Нэй, Ланн. И, наконец, словно солнце, своим ослепительным сиянием затмеваящее их всех, Бонапарт.

За годы жизни в Шанхае, в университете и на работе Гога проникся уже не из книг почерпнутой, а приобретенной в личном общении симпатией и уважением к французам, к их терпимости, демократичности, тонкости, чувству юмора, незлобивости. открылись ему и отрицательные черты этих людей, но они никак не перевешивали достоинств, наоборот.

Теперь Франция повержена. Разгромлена за какой-нибудь месяц. Непостижимо! В последний момент еще представлялась возможность спасти ее честь: прилетел Черчилль и предложил слияние двух государств, с правительством, составленным на паритетных началах. Но

среди руководящих деятелей Франции не нашлось никого, кто мог бы по достоинству оценить смелость подобного решения, его спасительность именно для чести Франции. Деморализованные пигмеи, собравшиеся в Бордо, бормотали свое: «Мы разбиты. У нас не осталось сил. Мы должны капитулировать...». Сил не оставалось только моральных. Впрочем, их у этих людей никогда и не было.

Черчилль уехал ни с чем. Но вернулся он в Англию с твердой решимостью продолжать борьбу и в одиночку. И такую же твердую решимость и спокойное мужество, достойные великого народа, проявили все британцы. Ведь величие духа народа проявляется не в дни побед, а в годину суровых испытаний.

Когда Черчилль выступил в парламенте со своей исторической речью, которую начал словами: «Я привез очень плохие новости из Франции...», а закончил ее: «Я ничего не могу предложить вам, кроме программы крови, пота и слез», парламент единогласно выразил вотум доверия своему правительству. Такой парламент был достоин своего народа.

Выдающийся очевидец этих дней в Англии — генерал Де Голль, вспоминая их через много лет, напишет: «С часу на час ожидалось вторжение немцев, и англичане в такой обстановке проявляли изумительную стойкость. Поистине замечательное зрелище являл собой каждый англичанин, который вел себя так, будто был убежден, что спасение родины зависит от его личного поведения».

Тогда, в июне 1940 года, весь мир был в ожидании — высадятся немцы на Британских островах немедленно или будут кончать с Францией.

Гогу тоже занимал этот вопрос, но в день, когда пришло известие о падении Парижа, он был слишком потрясен, чтоб думать о чем бы то ни было другом.

Еще в конторе Гога услышал эту весть как слух от одного китайского служащего. Хотя все явно шло к тому, Гога не поверил — не мог поверить — и, едва увидев Гриньона, бросился к нему. Гога говорил вполголоса, как в квартире, где лежит умирающий человек.

— Роже! Что слышно из Франции? Как Париж?—

Язык просто не поворачивался сформулировать вопрос точнее.

Гриньон мрачно развел руками. Вот уже неделя, как на его лице не появлялась привычная улыбка. Такого в его жизни еще не бывало.

— Похоже, что боши уже там.

И вдруг в разговор вмешался неизвестно как оказавшийся тут же Гийо.

— Что касается вас, то вы довольны, я в этом уверен, Горделов.

Первый раз в тоне Гийо не слышалось угрюмого недоброжелательства, а только горечь. Именно это обстоятельство помешало Гоге ответить какой-нибудь резкостью. Слова Гийо пронзили его сердце незаслуженностью упрёка, но не вызывали обиды.

— Наоборот, мсье Гийо, совсем наоборот! — ответил Гога так искренно и с такой болью, что старый француз смутился и первый раз посмотрел на своего помощника другими глазами.

«Почему нужно было совершиться такой трагедии, чтоб в тебе, наконец, проявился человек?» — грустно подумал Гога.

Работы в тот день никакой не велось. Французы, у которых все валилось из рук, бродили из комнаты в комнату как неприкаянные. Встречаясь, они останавливались, чтоб переброситься одной—двумя фразами и шли каждый в свою сторону. Китайцы шушукались, но не злорадствовали: ведь, в конце концов, из всех иностранцев лучше всех к ним относились именно французы.

Для Гоги этот день был томительным. К французам подходить он не решался: что скажешь? чем утешить? Из китайцев он здесь ни с кем не сблизился. Воспользовавшись тем, что Гийо в половине пятого уехал, Гога тоже на четверть часа раньше ушел из конторы. Он двинулся, как обычно, по Сычуань роуд и по лицам прохожих старался определить, что они чувствуют. Но подавляющее большинство встречных были китайцы. У них текла своя жизнь, со своими тревогами, горестями и бедами, о европейских делах они думали мало.

Солнце стояло высоко. День был ясный и жаркий, но еще не такой мучительно душный, как бывает в ию-

ле или августе, и Гога, намеревавшийся заглянуть в находившийся по пути бар, выпить холодного пива, передумал и направился к газетному ларьку. Там он купил обе вечерние газеты — русскую и американскую. Разворачивая «Вечернюю зарю», он еще надеялся, что, может быть, конторские слухи не подтвердятся. Но на первой странице, довольно крупными буквами, хотя и не такими, которые соответствовали бы масштабу события (проявление сочувствия и лояльности по отношению к французам, на концессии которых находилась редакция «Зари»), прочел заголовок: «Германские войска вступили в Париж».

Да, сомнений больше не было. Уже чисто механически он бросил взгляд на «Шанхай Ивнинг Пост». Там тот же заголовок был дан через всю первую полосу.

Гога стоял задумавшись. Нельзя сказать, чтоб он был удивлен, что сведения подтвердились. После того, как выяснилось, что фронт на Сомме французам не удалось удержать даже двое суток, судьба столицы была предрешена. И все же что-то оборвалось в нем, какая-то нить, связывавшая его нынешнего с тем Гогой, который когда-то беспечно жил в отчем доме и совсем еще в недалеком прошлом был бездумно убежден в незыблемости окружающего, в том, что все как было, так и впредь будет.

Уж сколько, казалось бы, переменилось вокруг него и в нем самом: уплыл в прошлое Харбин, ушел из жизни отец, кончилось ученье, появилось новое ощущение родины, уже не как идеи, не прекрасной мечты, а как чего-то вполне реального и конкретного, к чему теперь неудержимо стремилось все его существо, а все же какие-то основы мироощущения стояли незыблемо. Но вот настало время распротиться и с ними. Немцы — в Париже. Германские войска торжественным маршем прошли под Триумфальной Аркой, на которой написаны имена блистательных побед Наполеона: Лоди и Арколе, Маренго и Аустерлиц, Фридланд и Ваграм. И все эти сверкающие слова перечеркнуты. Рухнуло здание Гогоиною восприятия истории.

Тут ему пришло в голову, что вот так же, горестно потрясенный, стоял он на этом самом углу, купив в

этом самом киоске газету с сообщением о вступлении немцев в Прагу. Ведь это было совсем недавно... Гога подсчитал в уме: всего один год и три месяца тому назад.

Подумать только! А в промежутке между этими двумя триумфальными вступлениями немцев в две без единого выстрела павшие к их ногам столицы уместилась гибель Польши. Но там уж во всяком случае столица не сдалась без боя. Варшава сопротивлялась, Варшава билась до конца, из каждого окна смерть грозила ворвавшимся врагам. Польша погибла, но честь свою сохранила.

«Лучше гибель, но со славой, чем бесславных дней позор».

Да, именно так, Руставели прав. Человек только тогда достоин такого звания, когда он способен поставить моральные ценности выше материальных, когда чувство чести в нем сильнее того, что называют «здравым смыслом». Опасное слово! Как часто за ним укрываются трусы и предатели.

Гога совсем расстроился и мысли его спутались. А тут еще ему вспомнилось, что предстоит долгая и нудная поездка на трамвае, и по аналогии вспомнил такую же в день, когда пришло известие о взятии Праги.

Так или иначе, но домой он в конце концов добрался. В столовой Вера Александровна и бабушка Тереза сидели и пили чай со свежими булочками. Вера Александровна, по-прежнему легкая на подъем, каждый день после обеда сама ходила за ними в излюбленную кондитерскую.

Последних новостей Вера Александровна еще не знала. К неприятному удивлению Гоги, она отнеслась к известию довольно спокойно.

— Что ж, сами виноваты! Хотели Россию втянуть в войну, пальцем не пошевелили, чтоб помочь Польше, вот теперь пусть расплачиваются.

Бабушка Тереза при упоминании Польши горестно вздохнула. Она, как всегда, пила чай из блюдечка, вприкуску и больше молчала, но слушала разговаривающих внимательно. У Веры Александровны чувства к Польше и России делились поровну.

— Это англичане, — попытался возражать Гога больше по привычке, чем из убеждения.

— И французы тоже хороши! Россия спасла их в четырнадцатом году, а они чем отплатили? Тоже союзники...

Желая быть объективным, Гога попытался что-то возразить, но делал это слабо, без внутреннего убеждения. Действительно, чего спорить: мама права. Как это так, великая держава—главная победительница в первой мировой войне—дала себя раздавить за какой-нибудь месяц? А теперь все валят на англичан. Но ведь их повадки заранее были известны, о чем вы раньше думали?

«Что же нам — воевать из-за чехов?» — вспомнилась Гоге язвительная реплика, слышанная в день взятия Праги. «Пусть сами со своими делами справляются!» Да, не думали тогда мюнхенцы, что так обернется дело... Самим со своими делами справляться, оказывается, не так-то просто.

Гогу неудержимо потянуло из дому, хотелось общения с кем-нибудь, кто разделяет его чувства, но так как он никого определенного не имел в виду, то решил зайти к Горским.

Коки дома не было. Кто-то ему звонил, он с кем-то договаривался о встрече, — сообщила тетя Люба.

Вот кому все — трын-трава, — усмехнулся Гога. Ей-богу, счастливый человек! Занят своими интересами и в ус себе не дует, а мне до всего дело.

От Горских Гога прямо по Рут Валлон направился к Журавлевым. Аллочка — уже взрослая барышня, очень стройная, с миловидным круглым личиком, рассказывала, что в конторе, где она служит, хозяин-француз — добродушный, но скуповатый старик, сегодня плакал, не скрывая своих слез, и ругал англичан.

Ольга Александровна была обеспокоена больше всего тем, как бы дочь не потеряла место.

— Не закроет он свою контору, как ты думаешь, Алла?

— Нет, что ты, мамочка! Мы торгуем с Австралией. Нас война в Европе совсем не затронула.

Михаил Яковлевич, как всегда, молча сосал трубку и пил дочерна крепкий чай без сахара. Дверь на

балкон была открыта и легкое движение воздуха парусом надувало тюлевую занавеску. От нее по комнате беззвучно переползала взад-вперед сетчатая тень. Не смотря на то, что троим было тесно жить в одной комнате, у Журавлевых было очень уютно, и Гога после тревожных дней этого дня чувствовал себя умиротворенно и спокойно. Хотелось неторопливо попивать чай и обсуждать с Михаилом Яковлевичем события и перспективы, но разговор не получался. Журавлев был задумчив и сосредоточен. Он сказал только:

— Очень низкую боеспособность показала французская армия. Так нельзя воевать. Третью войну подтянут немцы их бьют.

— Но, ведь в прошлую войну... — начал было Гога и сам замолчал, предвидя, что скажет дядя, и понимал, что это будет справедливо.

— В четырнадцатом году их самсоновское наступление в Восточной Пруссии спасло. А теперь России с ними нет.

Гога знал, что последние слова в устах Журавлева следует понимать в буквальном смысле, но спорить сейчас не хотелось. Все дальше и дальше расходились взгляды племянника и дяди, но Гога был уверен, что бы ни случилось, капитан русской императорской армии Журавлев не будет служить никому, кроме русской власти. Но право на власть в России он признавал только за династией Романовых. Ей он в свое время присягал, и для него слово «присяга» не было пустым звуком.

Допив свой час, Гога посидел для приличия еще немного и простился с Журавлевыми.

Он вышел на авеню Жоффр. Там шла обычная вечерняя жизнь. У Журавлевых за чаем царила обстановка позднего вечера. Это была трудовая семья, и хозяева рано отходили ко сну. А здесь чувствовалось совсем иное: вечер только начинался, не было еще и девяти часов.

Как всегда, неистово звонили, мелькая желтыми окнами, полупустые в этот час трамваи, беззвучно катили лакированные лимузины, шустро шныряли рикши. Магазины уже закрылись, но витрины были ярко освещены, и еще ярче светились окна кафе и ресторанов,

неоновые трубки рекламных вывесок бросали подрагающий багровый отблеск на тротуар, и это создавало ощущение какой-то зыбкости и тревоги.

К девятичасовому сеансу в кинотеатре «Катэй», где шел новый американский фильм, съезжалась шикарная публика. Все шло как обычно в этом живущем своей особой жизнью, столько пережившем за свою недолгую историю городе.

У Гоги настроение выровнялось. Он почувствовал голод. Где бы поужинать?

В кафе «Дидис» он эти вечерние часы не любил — там интересно в пять, шесть, семь вечера, когда всегда собираются пить кофе, а сейчас внизу пусто. Подниматься на второй этаж в ночной клуб не хотелось: тесно, шумно, слишком громко играет оркестр, а сегодня не до танцев. Гога решил зайти в «Ренессанс». Тоже еще рано, конечно, но пока он поужинает, народ подойдет, вероятно, появится Жорка Кипиани, а с ним скучать не будешь. Гогой подспудно все же владело желание сегодня не быть одному, не оставаться наедине со своими раздумьями.

Гога заглянул во второй зал — пусто и неуютно. Он даже не сразу заметил, что за единственным столиком, на своем привычном месте слева от двери, сидит Вертинский, в полном одиночестве, весь какой-то поникший, обмякший, с глазами, безжизненно устремленными в одну точку. Перед ним, в серебряном ведерке стояла бутылка вина и наполовину опорожненный бокал. Таким Вертинского Гога прежде никогда не видел. Ни намек на лицедейство, а ведь Вертинский прежде всего был актер, и всегда носил ту или иную маску. А сейчас сидел пожилой, усталый, пригорюнившийся человек — не знаменитость, не кумир своих почитателей, не «Великий дед» своей молодой свиты, а просто человек и больше ничего — одинокий и, по-видимому, глубоко несчастный.

«Что с ним?» — подумал Гога. Он размышлял: подойти? Не подходить? Нет, не стоит навязываться в такой момент, ему не до меня, — решил Гога и на носках, словно боясь потревожить спящего, повернулся и сделал шаг к двери.

— Куда же вы, Гогочка? — раздался голос у него

за спиной. — Что вы бежите, бросаете меня одного? Мне так худо сегодня, и никого около меня нет...

Голос Вертинского звучал даже не обиженно, а жалобно, и Гога с чувством самому себе не понятной вины резко вздрогнул, будто застигнутый за чем-то нехорошим.

— Что вы, Александр Николаевич! — только и мог растерянно пробормотать он.

— Сядьте, побудьте со мной... — теперь в голосе артиста звучали капризные нотки, но за ними, словно оркестровый фон за солирующим инструментом, проступали звуки совсем иные — подлинно скорбные и глубокие.

«Что с ним?» — снова спросил себя Гога и только тут, усевшись, заметил, что Вертинский плачет. Слезы редкие, скупые и потому особенно мучительные, время от времени выкатывались у него из глаз и струились по лицу, но он не вытирал их, поглощенный переживаниями.

— Вы слышали, вы слышали? — неожиданно отрешившись от своей оцепенелой подавленности, заговорил Вертинский. — Какой ужас! Па'иж занят немцами. Как это пе'ежить?

И тут он снова заплакал. Гога растерянно молчал. Сам испытавший немало потрясение сегодня при этом известии, он не предполагал, что оно вызовет такую реакцию у всегда ироничного Вертинского, предельно откровенного, беспощадно-искреннего в своем творчестве, но в жизни никогда не раскрывавшегося до конца, немного играющего и чуть-чуть холодновато-отстраненного.

— Этого можно было ждать, Александр Николаевич, — сказал Гога, словно наугад вытащив из мешка первое, что попало под руку, и уж раз двинулся по такой колее, покотился по ней и дальше, — когда они прорвали фронт на Сомме...

— Ах, не знаю я, не знаю никакой Соммы, — перебил его Вертинский, поморщившись... — Это вы, политики, в этом что-то смыслите. А для меня Па'иж это святыня... И вот сейчас эту святыню топчет грубый сапог германского солдафона!

Он резким движением схватил бутылку и налил себе доверху. Потом взял второй бокал, словно ожидав-

ший того, кто им воспользуется, налил Гоге и сказал:

— Пейте, что же вы не пьете?

При этом Вертинский сам выпил свой бокал одним духом.

Хорошее вино он никогда так не пил. Тут только Гога заметил, что Вертинский нетрезв... Сколько же ему надо было выпить этого вина, чтоб опьянеть? Ведь под настроение Вертинский мог выпить бутылку коньяку и остаться совершенно трезвым.

Угадав мысли Гоги, Вертинский сказал:

— Вы что так смот'ите на меня? Думаете, я пьян? Я был пьянее после второй бутылки, сейчас уже отхожу. Такое это вино — легкое, нежное, как поцелуй невинной девушки. От него сильно опьянеть нельзя. Оно только вначале действует. А мне хотелось... Когда я узнал о Па'иже... Но вот... не пошел коньяк... — повторил он грустно, качая головой. При этом смотрел куда-то вбок, наверное, воскрешая перед своим мысленным взором милые сердцу картины города, который он так любил.

— Вы думаете, я его внешние красоты люблю? — продолжал Вертинский. — Да, конечно, он очень красив: Триумфальная Арка, Елисейские поля, ансамбль Тюильри, Лувр... да что там перечислять? Это всем известно. Нет, конечно, они прекрасны, но, может быть, еще лучше узкие улочки Монпа'наса... И все же не это главное. Вы понимаете, Гогочка... улицы, дома, дворцы — это тело го'ода. А душа — его люди. Там и люди особенные какие-то, особая национальность — па'ижане, и все особенное, неповто'имое, несравнимое, вся атмосфе'а жизни, даже воздух такой, какого нигде нет. Я ведь объездил весь мир. Нет, нигде нет такого воздуха, как в Па'иже.

Вертинский снова замолчал и смотрел куда-то мимо. Гога тоже молчал, тщетно пытаясь представить себе, воплотить в зрительные образы услышанные слова. Ничего не получалось, а он чувствовал, что как-то отозваться надо, и выдавил из себя:

— Да, конечно, Париж... — и замолчал, потому что избитыми словами говорить не хотелось, а своих слов о Париже у него в эту минуту не находилось.

Но Вертинский, явно не слушая его, а просто мысля вслух, вновь заговорил:

— Па'иж, это го'род... — он на мгновение задумался, чтоб точнее выразить то, что чувствует.

— Это го'од, где любая уличная девчонка может назвать дерьмом президента республики.

Гога слушал с удивлением.

Между тем ресторан стал оживать. Пришли музыканты, начали вынимать из футляров и пробовать свои инструменты, в саду уже было занято несколько столиков, там пили и ели, громко разговаривали, смеялись и шутили в предвкушении приятного вечера.

А он действительно был приятный: теплый, но не жаркий, тихий, веявший откуда-то сладким ароматом цветущей магнолии.

Еще одна компания — богатые коммерсанты со своими холеными, раскормленными женами в сверкающих бриллиантами кольцах и серьгах, прошли в сад через передний зал. Им сдвинули вместе три столика, и вокруг пчелиным роем засуетились кельнерши.

— Вот, п'ишли слушать Ве'ртинского, — почти с ненавистью указал на них артист. — И дела им нет ни до чего. У этого магазин сегодня то'говал хорошо, тот заключил выгодную сделку. Все прекрасно, не жизнь, а сплошное удовольствие. — И вдруг, с изменившимся настроением, резко повернулся к Гоге и спросил: — Вы имеете п'едставление, как заключаются сделки? И вообще, что это такое? Как получается, что и одному выгодно и д'угому?

Вертинский уже почти улыбался и немного играл. Он вновь входил в образ доброго волшебника и мудрого, великого деда, все видящего, понимающего и все прощающего непутевым внукам и прочим членам семейного клана, в котором Гоге недавно была определена должность воспитателя внуков, преподающего им хорошие манеры, французский язык и фехтование.

Да, маска вновь вернулась на лицо Вертинского. Он был на работе и работать надлежало добросовестно. Только глаза, остававшиеся неприкрытыми, выдавали его чувства, но это различал Гога, знавший, что у артиста на душе, другие же этого не видели, да им и неинтересно было. Они пришли весело провести время.

Вскоре все столики в саду «Ренессанса» оказались заняты. Уже выступили цыгане со своим навязчиво-крикливым весельем, уже отплясал, озорно и жуликовато

сверкая черными глазами, Шурка Петров, собрав урочай брошенных ему под ноги смятых купюр, а Вертинский еще не показавшись публике.

— Не буду я петь сегодня, не могу, — несколько раз повторил он, нервно поднося бокал к губам, но больше не пил, лишь смачивал горло.

Он действительно трезвел на глазах, и настроение у него вновь менялось. Он уже не плакал — нельзя артисту плакать по-настоящему при публике, плакать ему сейчас можно было бы только в образе, исполняя песню, и потому именно он был не в состоянии петь. Он несколько раз вставал, выходил куда-то, потом возвращался. Последний раз он вернулся приободрившийся, поговорил с кем-то из музыкантов и, сев за столик, облегченно сообщил Гоге:

— Ну, все устроено. Со ста'иком договорился. — Он имел в виду хозяина «Ренессанса» — прижимистого и крутого грека. — Сейчас выйду к ним, — он указал острым подбородком в сторону сада, — один рраз спою, и мы уедем. А вы пока позвоните Биби. Если она дома, поедем к ней.

Биби оказалась дома и сказала, что ждет.

— Ну вот и отлично. Проведем тихий, семейный вечер, — отреагировал Вертинский.

Он вышел в сад на небольшую эстраду. Все сразу стихло. Публика заждалась этого момента.

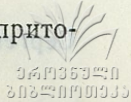
— Д'узья мои, — сказал Вертинский своим обычным чуть надтреснутым, тихим голосом, доносившимся, однако, до каждого. — Я должен вас ого'чить. Я не могу сегодня петь... В такой день...

Он сделал выразительную паузу, не досказав, но Гога, взглядываясь из полутьмы пустого зала в лица людей в саду, чувствовал, что все поняли и не в претензии хотя и разочарованы.

— П'ходите завт'а, п'ходите послезавт'а. Я буду вам петь все, что вы захотите, я буду много петь. А сейчас я спою вам всего одну песню. Только одну. Единственную, кото'ую я в состоянии сегодня петь.

И, повернувшись к оркестру, Вертинский дал знак начинать. К полной неожиданности для Гоги и для всех оркестр заиграл «Марсельезу». Но музыканты играли ее на русский лад — замедленно и монотонно. Вертин-

ский недовольно обернулся и руками, головой, притопыванием ноги дал нужный бравурный темп.



Allons enfants de patrie
Le jour de gloire est arrive!⁶ —

завучали слова бессмертной песни, ставшей гимном великой нации, и вокруг словно запахло порохом, словно слышался шелест овеянных славой, победоносных знамен Франции. Песня не подходила к стилю Вертинского, к его человеческому и актерскому темпераменту, но исполнял он ее с таким глубоким чувством, так проникновенно, что Гога ощутил, как спазма сжимает ему горло.

Aux armes e citoyens
Formes le bataillons!⁶

Фанфарный звук этих строк всегда особенным образом действовал на Гогу. Ему хотелось почувствовать себя среди добровольцев, идущих сражаться за свободу всех народов, за равенство и братство людей. С такой музыкой, с сознанием правоты и святости своего дела и смерть не страшна.

«Марсельеза» кончилась. Вертинский поклонился, резко повернулся и ушел с эстрады в зал. Там, подойдя к Гогу, он обнял его за плечи и сказал: — Пойдем!

⁵ Вперед, сыны отчизны!
День славы настал! (фр.).
Формируйте батальоны! (фр.)

⁶ К оружию, граждане!

ВЬЕТНАМКА

Мне встретилась юная алая
роза без шипов.
Я взглянул на нее вдохновенно
и, как мне кажется, нежно.
Но, по-видимому, недостаточно робко,
так как она тут же затрепетала
всеми лепестками своими,
зарделась
и стала милее
и ближе намного,
вернув мне радость бытия
и веру в мое всемогущество.

СИЗИФ

Камень, который он катит и катит
вот уже целую вечность
на свою злополучную гору,
давным-давно так отшлифован
его руками,
что боги глядят в него,
как в зеркало.
Рады они убедиться,
что любой труд —
даже сизифов —
не так уж и бесполезен,
как это мнится иным...

* * *

Маленький мальчик, сияя от счастья,
несет большую железную клетку
с панурью птицед.

Сочатся из глаз ее слезы,
но мальчик не видит их.
Неужели печаль крылатой невольницы
когда-нибудь не победит
счастья мальчишки?

* * *

Она не у людей просит милостыню...
Стоит, вытянув белоснежную руку,
изрезанную мелкой сеткой морщин
и бледною синью прожилок.
В нее мягко опускается снег,
еще чистый, первый снег.
Счастливая, улыбается небу.
Прохожие, не глядя в ее лицо
и не видя белого снега,
бросают поспешно в просящую руку
свою медную дань,
от которой, чернея,
тает снег на ладони
и темнеет лицо
просветленной,
ставшей вдруг — попрошайкой...

ОСЕНЬ

Перелетные птицы уже улетели.
Крылатые листья и семена,
подрывая пернатым,
отрываются от ветвей и стволов,
стремясь улететь как можно дальше
от своих кустов и деревьев,
осиротевших теперь во второй раз
за одно время года...



КОНСТАНАТИН ПЕТРОВИЧ КРЫЛОВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПЕЧАТНИКОВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПЕЧАТНИКОВ

ВЬЕТНАМКА

Акакий БАКРАДЗЕ

В Е Р А

Невиданный прогресс науки, правда, основательно потряс основы религии и проложил дорогу атеизму, тем не менее не смог разрешить проблем, издавна волновавших человека. Более того, эти тотальные проблемы стали еще более туманными, непостижимыми. Страх перед бытием усилился.

Благодаря развитию науки и техники человек полетел в космос, побывал на Луне, создал «говорящих» и «мыслящих» роботов, но ни с одним проявлением зла покончить не смог. Человек по-прежнему крадет, по-прежнему блудит, по-прежнему грабит и убивает своего ближнего. И с большим успехом использует научно-технические достижения для своих злодеяний. Если человек нравственно не станет лучше, к чему нам полеты в космос, прогулки по Луне, говорящие роботы? Никто пока не дал убедительного ответа на этот вопрос.

Прогресс науки и техники позволил человеку одержать победу над многими болезнями, но не смог добиться самого главного: избавить его от страха перед смертью, оградить от душевных мук. И снова сомнение: если человек никогда не избавится от страха перед смертью, от душевных мук, стоит ли ему похваляться научно-техническими достижениями, которые имеются на сегодняшний день и которых он достигнет завтра? И на этот вопрос нет убедительного ответа.

Религия учит: бог создал человека по образу и подобию своему. Наука опровергла это. Но ныне сам человек начал

14.09.59 40
519-1110333

создавать «нового человека» по своему образу и подобию. Подтверждение этому — все пересадки и попытки создания искусственных органов человеческого тела, всякого рода оплодотворения «в пробирке», определение пола еще не родившегося ребенка и т. д.

История человечества ясно показала, насколько несовершенен сотворенный по «образу божьему» человек. Каким же будет, он, созданный по человеческому подобию? Никто не может ответить и на этот вопрос. Или научно-технический прогресс обещает нам создание одноклеточных существ, которые ничем не будут отличаться от роботов? Может ли случиться так, как о том мечтает Сабитжан, персонаж Чингиза Айтматова? «...Наступит время, когда с помощью радио будут управлять людьми, как теми автоматами. Вы понимаете — людьми, всеми поголовно, от мала до велика. Человек будет все делать по программе из центра. Ему кажется, что он живет и действует сам по себе, по своей вольной воле, а на самом деле по указанию свыше. И все по строгому распорядку. Надо, чтобы ты пел, — сигнал — будешь петь. Надо, чтобы ты танцевал, — сигнал — будешь танцевать. Надо, чтобы ты работал, — будешь работать, да еще как!..» («И дольше века длится день»).

Мы не знаем точного ответа и на этот вопрос. Известно лишь, что страх перед искусственным человеком нам не ново. Это уже устоявшееся чувство.

Если не ошибаюсь, первой забила тревогу Мэри Годвин-Шелли, написавшая роман «Франкенштейн, или Современный Прометей», вышедший в свет в Англии в 1818 году. В предисловии к своему произведению Мэри Шелли рассказывает, как родилась идея создания «Франкенштейна».

Мэри была постоянной (и чаще всего бессловесной) слушательницей бесед, которые вели между собой лорд Байрон и Шелли. Они касались в них разных философских вопросов, в том числе тайны зачатия, возможностей ее раскрытия, оживления человека.

Часто упоминали доктора Дарвина¹, говорили о его опытах. Ходили слухи, что доктор Дарвин хранит в пробирке крупинки вермишели, которым он каким-то таинственным способом хочет придать способность двигаться. И Байрон, и Шелли полагали, что со временем станет возможным оживление материи, в частности оживление трупа: якобы открытие Галь-

¹ Дед Чарльза Дарвина.

вани давало возможность этого. Не исключено также, считали они, что в один прекрасный или, напротив, несчастный день наука научится воссоздавать отдельные части человеческого тела, соединять их и вдыхать в них жизнь.

Подобные разговоры будоражили фантазию молодой женщины (Мэри Шелли было тогда всего двадцать лет) и побудили ее написать роман, который сегодня можно воспринять как пророческий.

Гражданину Женевы доктору Франкенштейну, выходящу из богатой и известной семьи, удалось создать искусственного человека. Однако, взглянув на творение своих рук, доктор пришел в ужас: созданный им человек был отвратительным, внушающим ужас чудовищем. Два года сна, отдыха, здоровья были отданы бесполезному делу. Доктор возненавидел и свое творение, и лабораторию, и естественные науки. Коллеги, журналисты, пресса возносили его до небес, называли его достижение неслыханным, невиданным, невероятным. А Франкенштейна мучила одна-единственная мысль: что делать с монстром, как уничтожить его. Он заболел, одолеваемый этими горестными мыслями. А искусственный человек, воспользовавшись этим, сбежал из лаборатории. Его появление повсюду вызывало ужас. Все сломя голову бежали от него, прятались, молили о помощи. Поначалу монстр не понимал, почему люди боятся его. У него не было никаких злых умыслов, он шел к ним с открытой душой и любовью. Он хотел жить среди них. Но люди не приняли его, не приютили, не протянули братской руки. И монстр понял, что человеческое общество никогда не откроет перед ним двери. Он обречен на одиночество и преследование. И тогда его сердце исполнилось жажды мести. Монстр решил отомстить Франкенштейну. Он убил младшего брата доктора, задушил его друга, невесту...

Франкенштейн умирает, так и не уничтожив монстра.

Когда он лежал на смертном одре, его детище вернулось к нему и горькими слезами оплакало его: «О, Франкенштейн, благородный герой!.. Поздно просить у тебя прощения. Я погубил всех, кого ты любил. Ты — последняя моя жертва. Одиночество, ненависть озлобили меня. Сердце мое было призвано творить добро, но никто не прислушался к нему...

Я уйду, никто не найдет моих останков, исчезну, чтобы ни у кого больше не возникло желания искать ключ к запрещенной тайне, чтобы никто больше не помышлял создать нечто подобное мне». С тех пор больше никто не видел монстра.

Впрочем, и в литературе, и в киноискусстве было создано

16 0359 40
8 03-1110330

множество вариантов «Франкенштейна». Разжигали фантазию, нагоняли страх...

19 мая 1984 года по Центральному телевидению в цикле передач «Очевидное — невероятное» был показан югославский фильм «Третья жизнь».

Две молодые женщины — Хелена и Ясмينا — одновременно попадают в автомобильные катастрофы. Тело Хелены изувечено, у Ясины разбита голова. Врачи в раздумье. Гибнут две молодые жизни. Но если здоровому телу дать здоровый мозг, можно спасти одну жизнь. Так и поступили: Ясминe сделали пересадку мозга Хелены. Хелену похоронили, а «спасенная» Ясмина возвратилась домой.

Вот тогда-то и начались муки. Ясмينا унаследовала память Хелены. Естественно, все, что касалось ее, Ясины, она забыла. Она не узнавала своих родителей, родственников, соседей, друзей.

Родители Ясины не могли понять, что происходит с их дочерью, почему она так изменилась после аварии и «излечения». А родители Хелены не могли скрыть своего изумления — какая-то совершенно не знакомая им девушка утверждала, что она их дочь Хелена. Только недавно похоронив несчастную дочь, мать Хелены еще не справилась со своим горем, а тут эта странная девчонка, которую сумасшедшей не назовешь, но которая с отчаянной настойчивостью твердит невероятное. Не выгонишь же ее из дому! Странно, но незнакомка знает все семейные тайны, всех близких. Но ее никто никогда не видел в семье Хелены.

Под конец вынуждены были снова обратиться к врачам — что творится с Ясминой? Те признались в содеянном, иного выхода не было.

Узнав о себе правду, Ясмينا решает жить третьей жизнью — жизнь Хельмины (Хел-ена + Яс-мина).

Умерли две личности и родился один комбинированный человек.

Искусственный, комбинированный ли, он вызывает единственное чувство — ужас (именно это чувство по отношению к комбинированному человеку сквозит в романе Г. Панджикидзе «Спираль»). Безразлично, монстр ли этот искусственный человек или безвредное одноклеточное существо — в обоих случаях будущее внушает страх.

Наука не удовлетворяется мечтой об искусственном или комбинированном человеке. Она строит планы создания искусственной биосферы. Доказательство тому, с одной сторо-

ны, попытки создания постоянно действующих космических станций на околоземной орбите, с другой — то, что американские ученые называют «Биосфера-2». В обоих случаях речь идет о воссоздании искусственной экологической системы, которая даст возможность человеку жить и работать в космосе, на Луне или какой-нибудь другой планете. Искусственная экологическая система призвана также защитить человека на Земле в случае термоядерной войны.

Цель как будто весьма благородная, гуманная, но тут есть одно обстоятельство, над которым следует задуматься.

Наука учит, что жизнь опирается на экологическое равновесие. Единственное существо, вольно или невольно нарушающее это равновесие, — человек. Он, правда, сознает, что, нарушая равновесие, совершает величайшее зло (более того, самоубийство), но какая-то неодолимая сила толкает его на это. На словах он проповедует охрану экологического равновесия, на деле же поступает наоборот.

Поэтому человека совершенно естественно мучает вопрос — если до сих пор наука не смогла позаботиться о естественной экологической системе, то какова же будет созданная им искусственная экологическая система?

Академик Борис Соколов откровенно признался на страницах «Известий» (от 9 января 1986 года): до сих пор научно не доказано, что древнее — земля или жизнь. Когда мы получили ответ на этот вопрос? Каковы будут его последствия? Наука к сожалению, не в состоянии удовлетворить человеческую любознательность. Она призывает нас терпеливо ждать, пока найдутся ответы на интересующие нас вопросы. Но человеческая жизнь недолговечна, и каждый при жизни хочет знать и надеяться. У нас слишком мало времени для ожидания. Тем более, что в будущем маячит призрак новой угрозы. Она связана с вопросом — одни ли мы, земляне, в этой бескрайней, беспредельной вселенной? Есть ли еще где-либо жизнь и люди? Этот вопрос волнует человечество давно, но наша эпоха, эпоха космических полетов, потребовала безотлагательного ответа на него. Если обнаружится, что где-то в бескрайнем космосе живут наши собратья по разуму, что нам делать? Как мы должны поступить? Как поступят они, в свою очередь? Каково будет их отношение к нам? Не окажется ли роковым для нас появление инопланетян? Ответы на эти вопросы, по-видимому, даст будущее.

Герои Чингиза Айтматова полагают, что инопланетян не следует пускать на Землю. «Объявить обитателям планеты,

именуемой Лесная Грудь, о нашем отказе вступать с ними в какие бы то ни было виды контактов как несовместимых с историческим опытом, насущными интересами и особенностями нынешнего развития человеческого опыта на Земле» («И дольше века длится день»).

Нежелательны не только контакты с инопланетянами, но и возвращение на Землю тех космонавтов-землян, которые случайно оказались на незнакомой планете.

Ясно, что это решение продиктовано страхом перед неизвестной планетой и ее цивилизацией.

Отчетливо вырисовывается следующая картина: в области конкретных явлений, проистекающих в мире, наука располагает колоссальными, ошеломляющими знаниями, но вот объяснить общую закономерность жизни она не смогла. Напротив, происходит нечто странное: накопленные знания стали угрожать общей закономерности жизни, и это пугает человечество.

Что делать? Ни для кого не секрет — человеческий разум обуздать невозможно, кто знает, свидетелями скольких еще невероятных открытий нам предстоит быть. Да и человечество не может существовать без этих открытий. Таким образом мы в заколдованном кругу: мы и боимся этих открытий, и не можем обойтись без них.

Почему мы должны осуждать рядовых граждан, иронически относиться к их страхам, когда сама наука напугана? Когда сами ученые боятся своих открытий? Они созывают симпозиумы, коллоквиумы, конгрессы и настоятельно требуют наложить вето на то или иное открытие, ибо оно может привести человечество к катастрофе.

Довольно того, что над человечеством дамокловым мечом висит угроза «термоядерной зимы».

К сожалению, обнаружилось, что человек не доверяет себе. Правда, возможности разума *homo sapiens* беспредельны, но надо признать, что безрассудство его также не знает границ. Недаром у французов бытует шутливая поговорка: если хочешь четко представить себе понятие бесконечности, вспомни о человеческой глупости. Мы не знаем, что под конец возьмет верх: разум или безрассудство.

И человек в растерянности стал искать надежду, спасение. Этот поиск четко прослеживается в последнем романе Чингиза Айтматова «Плаха», в котором главный герой Абдий Калистратов ищет «бога-современника».

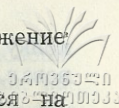
В «Плахе» о помощи к богу взывает не только человек,

но и зверь. Волчица Акбара, у которой человек украл щенков, жалуется богине Бюри-Ана, которая, оказывается, живет на Луне: «Взгляни на меня, волчья богиня Бюри-Ана, это я, Акбара, здесь в холодных горах, несчастная и одинокая. О, как плохо мне! Ты слышишь, как я плачу? Ты слышишь, как я вою и рыдаю, и вся утроба моя горит от боли, а сосцы мои разбухли от молока, и некого вспоить мне, некого вскормить, лишилась я моих волчат. О, где они и что с ними? Сойди же вниз, Бюри-Ана, сойди ко мне, и мы сядем рядышком, поводем, порыдаем вместе. Сойди же вниз, волчья богиня, и я поведу тебя в те края, где я родилась, в степи, где не осталось места для волков. Сойди сюда, в эти каменные горы, где тоже нет нам места, видно, нигде нет места волкам... А если не сойдешь, Бюри-Ана, возьми меня, сирую волчицу, мать-Акбару, к себе. И буду я жить на Луне, жить с тобой и плакать о Земле. О, Бюри-Ана-а-а, слышишь ли ты меня? Услышь, услышь, услышь меня, Бюри-Ана, услышь мой плач!».

Ничего удивительного, что человек хочет верить в существование чего-то или кого-то, кто бы услышал его плач, утешил бы, когда помощи ждать неоткуда. Поэтому поиск спасителя, надежды в сегодняшней литературе принял столь широкий размах. Проследим несколько примеров.

В палате лежат трое, спор идет между двумя — писателем и священником (Н. Думбадзе «Закон вечности»). Третьему, сапожнику по профессии, спор не интересен. Ему известна одна простая истина: какое бы учение не исповедывал человек, обувь ему нужна. Никому не хочется ходить босиком. Поэтому он во все времена чувствует себя хорошо и безучастно слушает спорящих. Тем более, что, на первый взгляд, спор их кажется беспредметным и бесцельным, поскольку с самого начала ясно: писатель-коммунист отстаивает коммунистическое учение, священник — христианское. Их согласие-примирение исключено. Почему же они спорят? Чтобы убить время? Чтобы развлечь себя в словопрениях? Но вскоре выясняется, что это не так. Развитие событий убеждает нас в том, что этот вопрос для обоих принципиальный и имеет существенное значение.

Спор между Иорамом Канделаки и Бачаной Рамишвили, как говорят спортсмены, заканчивается вничью. Писатель делает вывод, что из Иорама Канделаки «получился бы прекрасный коммунист», а священник считает, что «и из Бачаны Рамишвили вышел бы неплохой служитель бога».



Но эта ничья призрачная. Подкреплю свое положение цитатами.

Тяжелобольному Бачане Рамишвили, находящемуся на грани жизни и смерти, снится Христос.

«Семь дней и семь ночей пробирался Бачана по выжженной солнцем пустыне... Почувствовав приближение смерти, он перевернулся на спину, взглянул на солнце потухшими глазами, и впервые в жизни у него вырвался упрек светилу:

— Зачем ты обрело меня на погибель, солнце?!

И вдруг образ человека возник на диске солнца. И тень его упала на Бачану.

— Кто ты? — спросил Бачана.

Худощавый босоногий голубоглазый юноша глядел на него, и Бачана не мог понять — стояло солнце за ним или сияющий нимб озарял голову юноши.

— Я — владыка и бог твой! — ответил юноша».

Это — начало сна. А вот его конец:

«Опустился тогда Бачана на колени, низко поклонился юноше и сказал:

— Я видел тебя и уверовал».

Правда, проснувшись и рассказав священнику свой сон, Бачана «оправдывается»: «Во сне-то повалился ему в ноги... Но потом, когда, проснувшись, увидел вас и Булику, признаться, усомнился...» — но это уже шутка обретшего надежду человека, ничего более.

Бачане является в романе и другое видение, на сей раз богородицы.

«Среди маков стоял белоснежный, с роскошной гривой, жеребенок. Он нетерпеливо бил передней ногой об землю, словно позывая Бачану к себе.

— Иди, сядь на меня! — услышал Бачана. Он сел на жеребенка, обнял его руками за шею и головой приник к шее. Жеребенок понесся... Он примчал Бачану к белому храму... Распахнулись врата храма, и появилась богоматерь с младенцем на руках. «Господь мой», — подумал Бачана, опускаясь на колени».

Согласно христианской символике, белый конь — аллегорический образ Христа. Видение символически предсказывает спасение Бачаны. Несколько строками ниже Нодар Думбадзе подтверждает это: «И Бачана понял, что покинувшая его жизнь возвратилась, вошла в комнату, уселась к нему на

койку и коснулась его груди. Все это Бачана сперва почувствовал, затем услышал, а потом уже увидел.

— Здравствуй! — улыбнулся он возвратившейся жизни».

Вышеприведенные цитаты, на мой взгляд, доподлинно свидетельствуют о том, кто одержал победу в споре — Бачана Рамишвили или Иорам Канделаки. Вспомним о выводе, к которому приходит во время своей болезни Бачана Рамишвили, и у нас не останется и тени сомнения на этот счет:

«Душа человека во сто крат тяжелее его тела... Она настолько тяжела, что один человек не в силах нести ее... И потому мы, люди, пока живы, должны стараться помочь друг другу, стараться обессмертить души друг друга: вы — мою, я — другого, другой — третьего и так далее до бесконечности... Дабы смерть человека не обрекала нас на одиночество в жизни...».

Это заключение Бачаны по существу повторяет древнейшую мудрость: возлюби ближнего твоего как самого себя.

Ясно и то, на какую веру опирается нравственность Бачаны.

У Нино Багашвили пропал на войне единственный сын (Константин Лордкипанидзе «Золотая гроздь»). Узнав о том, что вместе с ее сыном воевал пастух Шарип Бежуашвили, Нино приехала к нему, но Шарип не смог сказать ей ничего утешительного. Выяснилось, что он оставил Мераба Багашвили раненым в селе Дигори в Северной Осетии, и дальнейшая его судьба Шарипу не известна.

Шло время, а мать ждала чуда — возвращения пропавшего без вести сына. Как-то ей сообщили, что Шарип собирается в Северную Осетию за красными коровами. Нино поехала к нему, попросила взять с собой и показать то место, где он расстался с Мерабом. Шарип не сумел отказать несчастной матери и взял с собой в Дигори.

«Пока со стороны Терека не двинулись сумерки, она молча бродила по полю, где произошло сражение. Вот проволочные заграждения и старые окопы. Развороченную землю до сих пор не сровняли. Все поросло кустарником и травой. Скрипела соскочившая с петли дверца будки. Шарип, понутив голову, сидел на ступеньке машины. Сердце его тоскливо сжималось. «Хотя бы уж плакала или кричала, мочи нет смотреть на нее!». А Нино все кружит и кружит по злосчастному полю. Остановится иной раз, прикроет уши руками. Потом снова обойдет будку, уставится на изрешеченную пулями стену. Или встанет над осыпавшимся окопом...

...Видимо, устала немного, подошла к будке, прислонилась. Солнце село. Плавно опускались на землю сумерки, которые вечерняя заря окрасила в молочный цвет... Нино вдруг оторвалась от будки и, протянув вперед руки, закричала в голос:

— Мераб... сынок!

Шарип вскочил.

«—Я глянул... и что увидел?! Волосы встали у меня дыбом! В рассеянном свете сумерек возник Мераб, настоящий, живой Мераб, какой он был в то утро, перед началом боя...»

— Сынок! — снова крикнула Нино и, как если бы головной платок соскользнул с вешалки, бесшумно осела на землю. И только успела вымолвить:

— Он не ответил мне, он мертв!..

Я не удивляюсь тому, что великая скорбь на мгновение оживила для матери сына и явила ее взору... Не призрак и не тень — нечто более реальное, материальное.

Меня тут поражает Шарип. Какое же чистое сердце должно быть у человека, который смог увидеть то, что дано увидеть богу».

Не ошибусь, добавив, это нечто большее, чем чистое сердце. Это вера в силу, не оставляющую в миг тяжкого горя человека одного, без надежды, вселяющую в него мужество.

Об этой вере пишет в своем рассказе «Василий и Василиса» Валентин Распутин.

Во время войны Александра потеряла четырехлетнего сына.

«Теперь он мне снится. Когда ему исполнилось десять лет, снился десятилетним, когда исполнилось пятнадцать, и во сне столько же. А теперь он совсем взрослый. Приходит сегодня ночью и говорит: «Мама, дайте мне свое родительское благословение, жениться хочу».

— А ты? — вся подавшись вперед, спросила Василиса.

— А я ему отвечаю: «Подожди, сынок, вот найду тебя, тогда и женись». — «А скоро ты меня найдешь?» — спрашивает он.

— Ой ты! — ахнула Василиса.

«Скоро, — говорю, — сынок, очень скоро». Он и пошел от меня. «Ау! — кричит. — Мама, ищи». — Василиса, замерев, ждет продолжения. Александра молчит.

— Так и ушел?

— Ушел.

— А не сказал, где искать-то?

— Нет.

— Спросить надо было, допытаться».

Александра отправляется на поиски сына. Василиса провожает ее: «С богом, — благословила ее Василиса. — Иди, Александра, иди. Земля у нас одна, так и иди по ней. А я за тебя молиться буду».

К старости Валерианом овладела навязчивая идея: примирить друг с другом различные религии и создать одну универсальную (Григол Абашидзе «Соболезнование»). Эту мечту Валериана можно посчитать причудой старого, одинокого, прожившего нелегкую жизнь человека, но как объяснить поведение директора школы Мириана?

Мириан был убежденным атеистом. Жил он жизнью, налаженной как часовой механизм. Пройдоха и ловкач, он легко нашел общий язык с властями. С одинаковой легкостью стяжал себе известность и извлекал выгоду. Всегда поступал так, как того требовали обстоятельства. Знал, перед кем надо юлить, а кому можно показывать зубы. Словом, жизнь ему представлялась овечьим курдюком, с которого он без труда срезал жирные куски. Но в один несчастный день колесо судьбы завертелось в обратную сторону. Мириан стал невольной причиной смерти женщины, которую любил больше жизни. Он потерял почву под ногами. И словно пелена с глаз упала — вся его жизнь представилась ему непрерывным грехом. Мириан не знал, где и как искать спасения. И тут он вспомнил о боге. Он принялся за чтение священных книг — Ветхого и Нового завета, проводил время в молитвах, пытается успокоить погрязшую в грехах душу. Это, правда, не помогло ему, освобождение пришло только со смертью, но весьма показательно, что отравленный безверием человек во имя спасения души пожелал возвратиться к вере.

На протяжении веков религия вселяла надежду в человека и утешала его: в мире царит сила, намного более мощная, добрая и справедливая, нежели разум человеческий. Эта сила совершенное человеком зло обращает в добро.

Братья не любили Иосифа и продали его проезжим купцам направлявшимся в Египет. А отцу, Якову, сказали, что Иосифа разорвал зверь, в доказательство принесли окровавленные изорванные одежды брата.

Прошло время, Иосиф стал первым человеком при дворе фараона, мудрым правителем государства. И когда судьба сно-

ва свела его с братьями, Иосиф открылся им и сказал нечто странное: «Но теперь не печальтесь и не жалеите о том, что вы продали меня сюда; потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни... Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением».

Совершенно зло: братья продали брата. Но волею всевышнего зло обернулось добром: проданный брат спасает братьев-предателей и их потомство от голодной смерти.

Почему? Потому что бог являет нам добро, он не может быть источником зла («Витязь в тигровой шкуре»). Руставели не устает повторять в своей поэме: «Зло творить зачем же будет тот, кто есть добра зиждитель»; «Зло убито добротой, доброте же нет предела»; «Зло мгновенно в этом мире, доброта же неизменна»...

Это утверждение религии и художественной литературы основывалось на закономерностях существования мира. А суть этой закономерности — добро, что подтверждается и наукой. Существует множество бесспорных доказательств этого и, в частности, следующее.

В настоящее время предметом основной заботы ученых (да и политиков) всего мира является получение энергии с помощью управляемого термоядерного синтеза и практическое использование этой энергии. Никто не сомневается, что, если удастся решить эту задачу, энергетическая проблема будет снята с повестки дня. Мы хорошо знаем, что использование электроэнергии в корне изменило жизнь человечества. А энергия, полученная в результате термоядерного синтеза, обещает сказочное будущее.

В ходе образования термоядерной энергии происходит, как известно, следующее: две тяжелые разновидности водорода — дейтерий и тритий — подвергаются сжатию в условиях экстремального нагревания. Если эти условия выдержать в течение определенного времени, ядра дейтерия и трития сольются друг с другом и образуют ядро гелия. При этом выделяется колоссальная тепловая энергия.

Для управления термоядерной реакцией необходимо — первое — добиться нужной температуры (не так давно в прессе сообщалось, что ученые Принстонского университета сумели достичь температуры в 200 миллионов градусов, для термоядерного синтеза в установках имеющегося типа требуется 360 миллионов градусов) и второе — сохранить нужную температуру в течение времени, необходимого для синтеза (ученым

Принстонского университета удалось поддержать температуру в 200 миллионов градусов в течение одной пятнадцатой секунды).

Интересно, что дейтерия на земле имеется в достаточном количестве, а вот тритий, оказывается, в природе не встречается. В настоящее время общее количество трития на земле составляет 300 килограммов, из них 290 образовалось в результате термоядерных взрывов.

В результате познания таких закономерностей природы как будто не должно остаться места сомнениям и недоверию, и все же они есть. Человек остался нравственно несовершенным, потому нам трудно поверить, что суть жизни — добро. И мы как-то упустили тот факт, что фундамент жизни — экологическое равновесие.

Олень в его взаимоотношениях с волком не есть олицетворение только добра, так же как и волк — только зла. Это два необходимых элемента жизни (как волк не сможет существовать без оленя, так и олень — без волка). То же можно повторить о зяблике и ястребе.

Таковыми же обязательными элементами жизни являются пустыня и цветущее поле (не будет пустыни — зачахнет поле и наоборот).

И наконец, величайшая закономерность — рождение и смерть. Жизнь прекратится, если рядом с рождением не будет смерти или рядом со смертью — рождения.

Жизнь есть вечное движение. Что является основополагающей силой этого движения? Ответ один — добро. Человек почему-то не верит в эту простую истину и иронически улыбается в ответ. Его сомнения вызваны, вероятно, тем, что для утверждения добра нужно бороться, а зло и без борьбы чувствует себя вольготно. Но вспомним одну закономерность, которая известна любому крестьянину: там, где посеешь пшеницу, обязательно взойдет сорняк, но там, где посеешь сорняк, никогда не взойдет пшеница. Это происходит по той простой причине, что сорняк в отличие от пшеницы — паразит. Он должен жить за чужой счет. Зло также паразит, оно живет за счет добра, и его, как пшеницу от плевела, надо очищать от зла. А для этого необходимо бороться. Назначение человека — в борьбе, в действии. Все возвышенное и прекрасное, что когда-либо было создано на свете, — результат действия, борьбы. Поэтому то, что побуждает человека к действию, к борьбе, должно существовать всегда, в противном случае он утратит свою функцию.



Это недостаточно знать, в это надо верить. Знание без веры не сможет стать фундаментом надежды, не сможет уничтожить страх перед бытием. И нельзя подменять одно другим. Знание так же нуждается в вере, как вера — в знании, иначе голый рационализм, с одной стороны, и невежество, с другой, могут погубить их. Вера и знание должны привести человечество к признанию той любви, которая, по словам Данте, вращает солнце и звезды.

Вечный спор между знанием и верой преподавал нам немало поучительных уроков, но мы все еще не сделали того простого вывода, к которому пришел адвокат из фильма Стенли Крамера «Пожнешь бурю». Адвокату удалось защитить своего подзащитного — молодого учителя, преподававшего в школе теорию эволюции Дарвина, что, по мысли обвинителя и определенной части общества, считалось преступлением, поскольку эта теория противоречит Библии. Адвокат опроверг некоторые ортодоксальные положения Библии, но когда процесс закончился, он взял обе книги — Библию и сочинения Дарвина — положил одну на другую и, прижав их к сердцу, вышел из здания суда.



Дареджан БУАЧИДЗЕ

ПЕСНЬ О ДРУЖБЕ

«Дорогие друзья! Только пара дней прошла с того времени, как мы попрощались с вами и с прекрасным Тбилиси, а перед нашими глазами все еще стоит все то хорошее и прекрасное, что мы за время нашего пребывания в Грузии увидели и полюбили. Всему этому во многом содействовали вы, дорогие, и мы никогда не забудем той настоящей сердечности и гостеприимства, которое мы нашли в вашей стране и в вашем доме. Разрешите еще раз поблагодарить вас от всего сердца и пожелать вам много счастья и успехов в вашей жизни! Мы будем очень, очень рады в следующем году приветствовать Вас в нашем древнем Вильнюсе»¹.

Так писал Симону Чиковани Народный поэт Литвы, классик литовской советской поэзии Антанас Венцлова в 1950 году.

А. Венцлова — выразитель той большой любви к грузинскому народу, к его истории и культуре, которую питали такие известные литовские писатели, как Антанас Венцолис, Людас Гира, Балис Сруога, Йонас Грайчюнас и др. Он вписал яркую страницу в летопись дружбы наших народов. В цикле его стихотворений, посвященных Грузии, органически сочетаются личная и творческая связь с Грузией.

Интерес А. Венцлова к Грузии и грузинской литературе зародился в 1936 году, когда в составе группы литовских писателей и деятелей культуры он впервые посетил Москву с целью ознакомления с культурой советских республик. Тогда литовские писатели посредством русских переводов познакомились с творчеством писателей разных народов. Особый интерес проявили они к сборнику «Грузинская лирика». «Тогда я еще почти ничего не знал о грузинской поэзии (за исключением поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре», о которой

¹ Отдел фондов Музея дружбы народов АН ГССР. Личный архив С. Чиковани, ед. хр. № 154.

писали тогдашние русские литературные журналы). Поэтому для нас, то есть для Пятраса Цвирки, художника Юозаса Мишенаса и меня, то было первым знакомством с поэзией далекого края, знакомством добрым и весьма приятным. Не скрывая своего волнения, мы с большим интересом прочли эту поэтическую книгу, раскрывшую перед нами необычайную красоту природы этой горной республики. Особенно мне понравилась поэма «Мингрельские вечера», в которой воспет труд простого крестьянина и которую на русский язык перевел талантливый поэт Борис Пастернак. С тех пор я не мог забыть Симона Чиковани. В первые советские годы, когда мы приступили в Литве к изданию журнала «Раштай» («Труды»), это знакомство побудило нас с П. Цвиркой отвести грузинской литературе целый номер (1941-й год, № 2). Уж очень нам хотелось заинтересовать читателя превосходной грузинской поэзией. В ту пору это было началом наших литературных связей...»¹.

А. Венцлова в первый раз посетил Грузию в 1950 году. «Грузия всегда возбуждала во мне романтические чувства, — вспоминал впоследствии поэт. — Посетить этот великолепный поэтический край меня уговорил мой старый и добрый друг Николай Семенович Тихонов, который не раз бывал в Грузии и в своих стихах воспел ее тружеников... Наконец, я с супругой отправился на родину Руставели, близкую нам и тем, что там жил и работал классик литовской литературы А. Венцолис».

Путешествие по Грузии, знакомство с грузинской культурой, историей и литературой, дружба с грузинскими писателями сыграли значительную роль в творческой биографии А. Венцлова.

Впечатления от поездки по Грузии легли в основу великолепного поэтического цикла, в который вошли стихотворения: «Тбилиси», «Грузия», «Голос Грузии», «Друзьям — поэтам Грузии», «Осень в Кахетии», «Сигнахи и Тамарис-цихе», «Рождение песни», «Гидростанция в горах», «Абхазия» и поэма «Песня у костра». Этот цикл А. Венцлова создал сразу же по возвращении из Грузии.

В стихотворении «Тбилиси» А. Венцлова проникновенно воспекает величественную обитель поэтов на Мтацминда. Лирический герой ощущает свое слияние с природой. Синева грузинского неба, созерцание величавого Казбека произвели на него неизгладимое впечатление.

¹ И. Склютаускас, А. Венцлова в Грузии, в кн.: «Уроки доброты», Вильнюс, 1980, с. 105.

И алмазная грань нам блеснула, —
То Казбека седого узоры,
И Тбилиси улыбку послал он
Через скалы, и льды, и просторы...

Столица Грузии очаровала литовского поэта своей многокрасочностью, неповторимым обликом. Но более всего ему понравились люди, творцы новой жизни, новой социалистической культуры. Это нашло яркое отражение в стихотворении «Друзьям — поэтам Грузии», которое посвящено Симону Чиковани, Георгию Леонидзе и Сандро Шаншиашвили. Стихотворение свидетельствует об обстоятельном знакомстве литовского поэта с некоторыми фактами из истории Грузии. «Мне вспоминаются, — пишет А. Венцлова, — некоторые наиболее характерные моменты из истории наших литературных связей, в частности, то обстоятельство, что грузинский писатель и основатель театра Георгий Эристави (1811—1864) жил в качестве ссыльного в Вильнюсе».

Далекая история, а еще более наша повседневность, удивительно теплые взаимоотношения с грузинскими писателями вдохновили литовского поэта на создание замечательного стихотворения, в котором личная дружба обобщена и возведена до уровня великой дружбы народов Советского Союза.

Будучи в Грузии, А. Венцлова посетил новостройки республики. Он был восхищен энтузиазмом строителей Рустави, героикой их труда. «Чувствовалось, что они к своему труду относятся творчески. Мне хотелось показать эту замечательную черту руставских сталеваров: «Здесь все — сталь, утесы, люди — возвышенная песня новых дней. И сердце грузина полно прекрасных замыслов и мечтаний», — писал я в своем стихотворении «Голос Грузии». В нем отразились также мои впечатления от пребывания в Гори, куда мы приехали вместе с Симоном Чиковани. Знакомый поэта, случайно встретившийся на улице, не отпустил нас: пригласил меня и Симона на свадьбу дочери... Здесь я первый раз в жизни услышал звучание чонгури».

Голос Грузии слышится литовскому поэту как в сладостных звуках чонгури, так и в гудении руставских доменных печей:

¹ Здесь и далее стихотворения А. Венцлова приводятся в переводе Н. Тихонова.

И этот голос сердцем правит,
И манит вдаль, волны звончей;
Как великан гудит Рустави
Огнем мартеновских печей.
Здесь люди, скалы, сталь — как песня,
Все счастье жизни ей дано,
Размах мечты еще чудесней,
Грузина сердце им полно.

Результатом знакомства А. Венцлова с индустриальной Грузией явилось и стихотворение «Гидростанция в горах», в котором поэт в художественной форме показал, как энергия бурных горных рек, сливающихся в единый поток, используется на благо народа:

Здесь в поток реки бурливой
Каждый день — за тонной тонна —
Опускались тяжко глыбы
Из железа и бетона.
Волны яростно метались,
Прыгали через твердины,
Потрясая белой гривой,
Словно скакуны пустыни.

В стихотворении «Рождение песни» А. Венцлова воспевает природу одного из восхитительных уголков Грузии, говорит о его истории, полной битв и кровопролитий, о сегодняшнем дне, озаренном героическим трудом:

Мингрелины пышные поля
Топтали копыта коней,
Народ воскресил тебя, земля,
И каждую пядь полей.
Краса ее вновь светла и легка,
Как жемчуг чист небосклон,
В садах — кипарисов облака,
В садах — виноград, лимон.

Стихотворение «Абхазия» воспроизводит пленительный облик этого замечательного уголка Грузии. В нем чередуются картины древней истории и героической современности:

Вновь Диоскурия былого
Здесь поднялась из древних вод —
И парус греческий, что снова
К спокойной пристани идет,
Где аргонавты в сказке годы
Руно искали — навсегда
Родилось счастье для народа,
Закалено в огне труда!



Мысль о создании стихотворения «Осень в Кахетии» родилась в Джугаани, во время пребывания в семье С. Шаншиашвили. «Врезался в память один ранний осенний день, я стоял и долго смотрел на величественный хребет Дагестана, маячивший по другую сторону долины», — писал А. Венцлова.

Поэт воспеваает плодородные долины Кахетии, сладчайший виноградный сок в квеври и в давилнях, самоотверженный труд кахетинского крестьянина. Поэт восхищен изобилием осени, ее красотой.

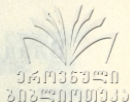
А. Венцлова отдает щедрую дань уважения трудолюбивому грузинскому крестьянину, лелеявшему веками виноградную лозу:

Стал виноград зрелым как раз,
Виснет уже, тяжел и жарок,
Люди щедрой земли подарок
Здесь в кувшины цедят сейчас.

«Высоко в горах расположен древний кахетинский город Сигнахи, — вспоминал Антанас Венцлова. — Сюда нас привез наш друг Сандро Шаншиашвили. Вокруг, в долине, раскинулись виноградники, а вдали на горе маячил замок царицы Тамары — Тамарис-цихе. Сандро, прекрасный знаток старины, рассказывал, что, когда персы нападали на Грузию, жители замка разводили костры, чтобы огонь был виден всей окрестности, в том числе и в Сигнахи». Под влиянием этих рассказов родилось стихотворение «Сигнахи и Тамарис-цихе»:

Где гранит навеки вкован
В белый солнечный простор,
Как игрушка, нарисован
Город на ладонях гор.
Закрывала солнце злая
Крови дымная волна...

**Вновь долина молодая,
Словно радуга, ясна.**



А. Венцлова объездил всю Грузию, познакомился с бытом грузинского народа. Свои чувства и мысли о настоящем и будущем страны, о трудовом подъеме грузинского народа он выразил в стихотворении «Грузия». Оно звучит, как подлинный гимн труженику-грузину:

**За мной громадой встал Кавказ,
Огни в долинах бесконечные,
Всею сердцем чувствую сейчас
Великой жизни силу вечную.**

В поэтический цикл, посвященный нашей республике, А. Венцлова включил поэму «Песня у костра», которая повествует о нерушимой дружбе народов СССР, особенно ярко проявившейся в суровые годы Великой Отечественной войны.

Антанас Венцлова многое сделал для знакомства и сближения литовского читателя с Грузией. Его поэтический цикл — это оптимистическая песнь о великой дружбе народов, горячая симпатия стране и народу, выраженная литовским поэтом с искренней и глубокой признательностью.



ОБ ОДНОЙ ИЗВЕСТНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

(«СУМЕРКИ НА МТАЦМИНДА» Н. БАРАТАШВИЛИ—
«ЛУНА МТАЦМИНДЫ» Г. ТАВИДЗЕ)

Попытаемся под новым углом рассмотреть неоднократно отмечавшееся исследователями сходство двух стихотворений.

«Сумерки на Мтацминда» («შემოღამება მთაწმინდაზედ», 1836, 1843) — образец романтического стихотворения-обобщения. Здесь, в отличие, скажем, от «Вечера» (1855) Фета, не отражены в своей последовательности те или иные фазы наступления вечера, а так же, как в тютчевском «Тени сизые смешались...» (1835), передан «сумеречный» пафос:

О Мтацминда, гора святая, места твои,
Навевающие думы (размышления), дикие и пустынные,
Сколь прекрасны, когда падут на них росы небесные,
Когда в вечернюю отрадную пору остаются лишь тихие
отблески (свечение).

Какая тогда таинственность разливается (поселяется,
находит приют) в окрестностях твоих,

Какое зрелище пленяет тогда очи стоящего на прекрасной
вершине твоей!

Раскинувшуюся внизу красивую долину покрывают цветы,
как трапезу святую,

И, как благодарственный фимиам, воскуривают тебе свои
благоухания.

Помню то время, отрадное время, когда, печальный,

О, скала туманная, я бродил по твоим тропинкам

И любил, как друга, тихий вечер,

Затем, что, подобно мне, он был грустен и печален

(скорбен).

Ах, как вся природа тогда была красива и овеяна

нежностью!

О небо, небо, образ твой все еще запечатлен в моем сердце!
И ныне, лишь очи узрят твою синеву (лазурь), тотчас же
думы устремляются к тебе,
Но не достигают тебя и в пространстве же (в воздухе)
рассеиваются.

Я, созерцающий тебя, забываю сей мимолетный
(мгновенный) мир,
Порывы сердца моего за гранью твоей ищут пристанище --
Обиталище горнее (высших сил), чтобы суетность (мира)
здесь же оставить;
Но, увы, смертные не познают (не постигают) провидения
небесного.

Задумчивый, стоял я на вершине; и меня, с любовью
глядящего в небеса,
Окружали майские сумерки, наполняющие молчанием
теснины.

Порой тихо веющие ветерки издавали стон среди оврагов,
И порой молчаливые окрестности выражали этим согласие
(сочувствие) моему сердцу.
Гора живая (животворящая), то смеющаяся (радостная), то
льющая слезы,

Кто, окинув тебя взором, тотчас же для дум твоих
Не обретет отрады, не избавит сердце от горя,
О, друг людей с замкнутыми сердцами, гора облачная
(окутанная тучами).
Молчала там вся окрестность; сумрак покрыл небесный свод.
Следует (бежит) за луной, как возлюбленный, одна
одинокая звезда.

Видели ли душу, еще невинную, утомленную горячей
молитвой?
Ей была подобна луна, нежно шествующая со склоненным,
бледносветящимся диском.

Таково было наступление сумерек на Мтацминда.
О, места, помню, помню, о чем думал я
Среди вас и что облекал в слова,
Лишь сердце чувствует, какую отраду вы принесли ему
в дар!

О, вечер тихий (мирный), чарующий, ты один остался моим
утешением!
Когда скорбь охватывает меня — к тебе стремлюсь, чтоб
ее развеять.
Сумерки сердца — печаль сердца — примут от тебя
утешенье,

Что рассветет солнечное утро, и озарит оно светом

всякий сумрак!*

Вообще «сумеречная» тональность, меланхолия — одна из характерных черт романтического мировосприятия. «Сумерки на Мтацминда» рисуют обобщенную картину сумерек и тесно связанных с ними переживаний — аналогичные неразрешимые природно-психические комплексы экстраполируются романтиками на все времена года и местности, демонстрируя тягу романтиков к построению универсальных и абстрактных поэтических моделей. Элементы конкретизации (топоним «Мтацминда», указание на время года — см. строки 1, 22) растворяются в концептуальной антитезе мгновенное-вечное, выраженной в V строфе и метафорической концовке (X строфа). Отдельные событийные вкрапления в текст и апелляция к абстрактным временным планам (строки 9, 40) не затрагивают основ невременной схемы, внося в нее лишь несущественные коррективы.

В плане поиска общности в принципах временной организации представляется интересным сопоставить романтический шедевр Бараташвили со стихотворением, написанным почти восемь десятилетий спустя. Речь идет о неоромантическом стихотворении Г. Табидзе «Луна Мтацминды» („მთაწმინდის მთვარე“, 1915).

Еще никогда не нарождалась луна такая тихая!

В безмолвие облаченная вечерняя лира

Дуновением сзывает голубые тени (призраки) и влетает их
в деревья...

Таким тихим (безмолвным), таким нежным небо я (еще)
не помню!

Луна — словно ирис в бледном ожерелье лучей,

И ее сиянием (светом) окутанные, легким сновидением

Кажутся Кура и Метехи, белизной сверкающие...

О, никогда не нарождалась такая нежная луна!

Здесь, вблизи меня, старца тень спит царственным сном,

Здесь, на печальное кладбище с розами и ромашками,

Струится звезд мерцание веселое...

* Подстрочный перевод стихотворения на русский язык приводится по следующему изданию: Бараташвили Н. М. Стихотворения. /Подстрочный перевод с грузинского А. Абашели, Мариджан, К. Надирадзе. Тбилиси, 1968.

Бараташвили здесь любил в одиночестве бродить...
И пусть я тоже умру в песнях, озера печальным лебедем,
Только бы мне рассказать о том, как ночь в душу заглянула,
Как сновидение расправило от края до края небес крылья
И распустило мечтаний синие паруса;
Как смерти близость преобразует
Розы и водопады песен (мотивов) умирающего лебедя,
Как чувствую, что для души, этим морем возвращенной,
Путь смерти есть не что иное, как розовый путь;
Что на этом пути певцов (поэтов) смелость — сказка
(вымысел),
Что никогда еще не было такой тихой (безмолвной) ночи,
Что, призраки (тени), я рядом с вами смерть встречаю,
Что я царь и певец (поэт) и с песней умираю,
Что последует за веком к вам моя лира...
Еще никогда не нарождалась луна такая тихая!*

Уже сам заголовок стихотворения Г. Табидзе „მთაწმინდის ღამე“ («Луна Мтацминды») является аллюзией — прозрачность намек на романтический шедевр Н. Бараташвили видна даже неспециалисту. Поэт намеренно не затушевывает эту близость, упоминая в стихе о своем предшественнике (12-я строка) и комментируя стихотворение спустя несколько десятилетий следующим образом: «Луна Мтацминды» — мое программное стихотворение, которое конкретно описывает мое отношение к культурному наследию (Бараташвили, Акакий, я)...»*.

Однако хотя формальная близость двух произведений не подлежит сомнению, обратимся непосредственно к такому объективному критерию, как текст. Прежде всего бросается в глаза одно немаловажное обстоятельство — Табидзе подхватывает меланхолическую тональность и благозвучие бараташвилевского стиха и сохраняет их до самого конца. Столь любимый романтиками природно-психический комплекс «тихие сумерки — тихие чувства» бережно сохранен и здесь, с той лишь разницей, что Табидзе делает акцент не на типичности, а на ис-

* Подстрочный перевод стихотворения на русский язык выполнен сотрудниками Главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при СП Грузии и отредактирован автором настоящей статьи.

* Табидзе Г. В. О своих стихах. — Соч.: В 12-ти т., Тбилиси, 1975, т. 12, с. 152 (на груз. яз.).

ключительности описываемого вечера: «Еще никогда не нарождалась луна такая тихая!».

Однако эта многократно варьируемая в тексте (см. строки 1, 4, 8, 22, 26) формула исключительности — по существу романтическая гипербола, служащая мелодическим целям (что особенно наглядно проявилось в окольцовывании стихотворения). Первая часть «Луны Мтацминды» содержит целый ряд невременных формул-описаний, построенных по законам романтической поэтики (строки 1—12). Вторая часть стихотворения — конструкция обобщения; здесь разрабатывается тема смерти и бессмертия поэта. Типичная для романтиков и особо характерная для Бараташвили антитеза «мгновенное — вечное», решаемая в пользу второго звена, а также вытекающие отсюда мотивы бессилия человека (см. «Сумерки на Мтацминда», четвертая строфа) отсутствуют у Табидзе (и вообще чужды ему), зато вводится мотив «пути смерти» («სიკვდილის ვზა») как «розового пути» («ვარდისფერის ვზა») и утверждается связь поэтических поколений.

«Я» в стихотворении Бараташвили звучит ненавязчиво, это некий обобщенный субъект романтической лирики, наблюдающий и размышляющий; «я» Галактиона Табидзе — это субъект новой лирики, которого с гораздо большим основанием можно отождествить с автором. Что же касается строк:

და მეც მოკვდევ სიმღერებში ტბის სევდიან გედად.

**И пусть я тоже умру в песнях, озера печальным
лебедем...**

...მეც ვარ და მოსანი და სიმღერით ვკვდებო

...წაჰყვება საუკუნეს თქვენთან ჩემი ქნარი.

...я царь и певец и с песней умираю,

...последует за веком к вам моя лира...

то они, на наш взгляд, содержат явную перекличку с двумя знаменитыми одами Горация — к Меценату (кн. II, 20) и к Мельпомене (кн. III, 30).

Несмотря на отмеченные отличия, невременная организация обоих стихотворений скрепляет их генетическое родство.





Георгий ГЕЛАДЗЕ

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ «СИБИРЯКОВА»

ВЕСНА 1942 года и на Севере была особенно трудной. Смертельная опасность, нависшая над Родиной, сказывалась на всем. Люди, ломая льды на Двине и в устье Белого моря, проводили караваны судов с вооружением. Пожары от бомбежек полыхали зловещими зарницами. Трассирующие снаряды и пулеметные очереди перечеркивали небо. То тут, то там падали в дыму и огне самолеты.

В этих тяжелых условиях защитники советского Севера не теряли мужества. Каждый находился на своем месте, отдавая все силы на разгром врага.

...Часы в каюте капитана ледокольного парохода «Александр Сибиряков» показывали полночь. На столе карты предстоящих районов плавания, лоции. Качарава напряженно работал.

Комиссар Элимелак принес сводку за сутки, сказал, что производительность ремонтных работ поднялась до 180 процентов, и на неделю раньше срока корабль выходит из ремонта.

Раздался телефонный звонок, соединивший парход со штабом уполномоченного Государственного Комитета обороны в Архангельске.

Говорил начальник штаба К. С. Бадигин — однокашник Качарава по Владивостокскому морскому училищу. Константин Сергеевич, впоследствии член Союза писателей СССР, автор нескольких повестей и романов, в которых он воскресил славные страницы прошлого Советской страны, нашего народа и флота, в то время уже был известным ледовым капитаном, Героем Советского Союза. Это он провел три полярные зимы на «Георгии Седове», получив известность как один из выдающихся исследователей Арктики. Бадигин интересовался, как дела.

Качарава доложил, что на неделю раньше срока готовы к выходу в море.

В трубке послышался треск, а потом резкий голос Папанина, приказывавшего организовать работы так, чтобы к выходу в море быть готовыми за десять дней до срока.

29 мая 1942 года тридцатидвухлетний капитан ледокольного парохода «Александр Сибиряков» Качарава шел на встречу с уполномоченным Госкомобороны в Архангельске, начальником Главсевморпути, дважды Героем Советского Союза капитаном первого ранга И. Д. Папаниным.

Иван Дмитриевич находился в Архангельске с конца октября 1941 года. 15 числа того же месяца он был вызван в Государственный комитет обороны, где ему сказали, что нами заключено соглашение с Рузвельтом и Черчиллем, что через Атлантику к нам идут корабли с грузами. Разгружаются они в Архангельске. Государственный Комитет обороны недоволен ходом разгрузки судов союзных караванов. Союзники жалуются на медлительность. Прибытие транспортов стало неожиданностью для работников порта. Говорят, что военно-морские власти решили выгружать доставленные грузы своими силами и порт в известность не поставили. Но своими силами обойтись не смогли. В результате — военный груз, который необходим на фронте, доставленный уже нам, простаивает у причалов. Только вмешательство Архангельского обкома партии решило дело. Архангельский порт имеет и будет иметь в ближайшем будущем особо важное значение как самый близкий к линии фронта свободный морской порт. Мурманск еще ближе, но он всего в 40 километрах от фронта, и вражеская авиация бомбит город регулярно. Нынешнее руководство порта, к сожалению, не справляется со срочной разгрузкой судов.

Поэтому, учитывая практический опыт Папанина в организации зимних военных перевозок в Белом море в финскую кампанию, было решено послать его в Архангельск как уполномоченного Государственного Комитета обороны.

В тот же день уже в ранге уполномоченного Госкомоборонны, одновременно оставаясь начальником Главсевморпути, он выехал на Север.

Несмотря на огромную занятость, Иван Дмитриевич всегда находил время для встречи с подчиненными ему капитанами, уходящими в море. На своем опыте он знал, что дальнейшее плавание — трудное дело, а плавание в Арктике — особенно тяжелая и опасная работа. Вот и теперь он подробно охарактеризовал положение капитану «Сибирякова».

Метеорологи дают хороший прогноз на нынешнюю навигацию. Это значит, что плавание ожидается более легким в ледовом отношении, чем в обычные годы. Такой прогноз, очевидно, сделали и немецкие синоптики. Значит они активизируют свои действия.

Папанин поддерживал мнение тех, кто уверен, что Гитлер будет стремиться захватить Заполярье и в первую очередь ее западную часть, взять Мурманск и Архангельск — головные порты западного сектора Арктики и базы нашего флота. Лишив нас этих баз, Гитлер получит полное господство в Баренцевом и Белом морях и на западном участке трассы Северного морского пути. Но есть и такие, которые говорят, что немцы в Арктику не пойдут, побоятся, дескать, погодных условий, да и главные удары фашистов нацелены на Белоруссию и Украину. Однако быть нам спокойными нет оснований.

Качарава знал, что Иван Дмитриевич уже принял кое-какие меры обороны. По его просьбе Северный флот вооружил ледоколы и ледокольные пароходы, в том числе и «Сибирякова», пушками и зенитными пулеметами. Начальник артуправления Наркомата обороны Яковлев выделил, по просьбе Папанина, крепостную пушку и два шестидюймовых орудия. Военный флот дал еще два 130-миллиметровых морских орудия. Артиллерия была укомплектована боезапасом и отправлена вместе с артиллеристами на мыс Желания, на самую северную оконечность Новой Земли, где круглый год действовала полярная станция. Укрепили порт Диксон, который занимал важное стратегическое положение. Там был базовый морской порт, радиоцентр и полярная станция. Через Диксон,

пополнившись углем, суда шли к Игарке и Норильску. Ору-
дия были тщательно замаскированы.

Этих мер для защиты огромной территории западного сек-
тора Арктики было, конечно, недостаточно, но и они вызы-
вали недовольство тех, кто придерживался мнения, что гитле-
ровцы в Арктику не пойдут.

Поскольку сведения о погоде в северных широтах нужны
были немцам позарез, Папанин не сомневался, что они будут
добывать их любой ценой и полезут к станциям.

Качарава знал все станции Севморпути. В прошлую на-
вигацию он на «Сибирякове» ходил к ним. Они были разбро-
саны на Новой Земле у поселка Лагерного, в Белужьей Губе,
на Малых Кармакулах, на острове Русский, мысе Челюски-
на, в заливе Фаддея... Закончили навигацию 1941 года ус-
пешно. Потом «Сибиряков» перевозил воинские части, обес-
печивал продуктами питания и боеприпасами гарнизоны на
побережье Белого моря, проводил во льдах суда различного
назначения.

Направляя в эту навигацию Качарава в Карское море к
островам Правды, Тыртов, Русский, Уединение, Папанин го-
ворил и о задаче потрудней. Было запланировано открыть по-
лярную станцию на самой северной оконечности архипелага
Северная Земля — на мысе Арктическом. Вот туда и пред-
стояло ему пройти после того, как он заправится на Диксоне
углем и возьмет на борт полярников во главе с гидрологом
Золотовым. На Арктический надо было завезти сборный дом,
радиостанцию, продукты и все необходимое вместе с нарами
и собаками. В Архангельске Папанин будет держать оператив-
ную связь со всей Арктикой и с ним тоже.

Качарава встал, собираясь уходить, но Иван Дмитриевич
остановил его, чтобы передать благодарность от Госкомборо-
ны за добровольное участие в разгрузке судов с грузом для
фронта — всему экипажу, на десять суток раньше срока за-
кончившему ремонт.

Папанин и Качарава обнялись, рассчитывая вновь пожать
друг другу руки в конце навигации...

В ночь на 30 мая 1942 года, спустившись по Северной
Двине, ледокольный пароход «Александр Сибиряков» вышел
в беспокойное Белое море.

...1 июня 1942 года руководитель Северным театром мор-
ских операций адмирал Карлс был вызван в ставку Гитле-

ра. Адмирал знал: фюрер недоволен тем, что военная и экономическая помощь России со стороны союзников осуществляется по северным морям.

СССР поддерживал морские сообщения со своими союзниками в трех основных направлениях: через Тихий океан и Сибирь; через Персидский залив, Иран и Каспийское море; через Северную Атлантику, Баренцево море в порты Мурманск и Архангельск. Более удобным и коротким был путь через Северную Атлантику. Плавание по нему отнимало в два раза меньше времени, чем через Персидский залив. От Исландии, где формировались союзные караваны, суда шли всего лишь 10—12 дней. Путь этот был разделен на две операционные зоны: от США и Англии через Исландию (Рейкьявик) до острова Медвежий караваны охранялись эскортом английских и американских кораблей, а от острова Медвежий до Мурманска и Архангельска — советскими и английскими кораблями.

Адмирал Карлс активно использовал морскую авиацию, подводные лодки, но в период полярной ночи потери союзников были невелики — погибало примерно 20 процентов судов... Шестнадцать караванов уже прошли благополучно.

Поражение под Москвой в декабре 1941 года заставило Гитлера активизировать действия сухопутных войск на Севере и постараться захватить советское Заполярье, для чего немецко-фашистское командование решило усилить военно-морские силы в северной Норвегии и Финляндии. Перед своим морским флотом и авиацией оно поставило задачу — сорвать воинские и народнохозяйственные перевозки русских как на внешних, так и на внутренних арктических коммуникациях...

Карлс докладывал фюреру, что выход из Исландии очередного конвоя намечен на конец июня. Через несколько дней военные корабли Великобритании получают приказ вернуться, а транспортные суда — рассредоточиться и следовать по курсу самостоятельно. Приказ последует от тех, кто в английском адмиралтействе против помощи русским. Тут адмирал предполагал нанести удар и потопить грузовые пароходы вместе с танками, пушками, самолетами. Он надеялся, что, разгромив конвой, надолго отобьет охоту помогать русским через северные моря.

Гитлер спросил, кто и какими силами прикрывает караван.

Карлс ответил, что по данным разведки 35 транспортных судов с военной техникой будут прикрывать две группы военных кораблей. Первой группой командует адмирал Тови. Она

состоит из авианосца, двух линкоров, двух крейсеров и семи эскадронных миноносцев. Вторая группа — адмирала Гамильтона: четыре крейсера и три эсминца. Но и это не все. 19 кораблей различного назначения для непосредственного охранения пойдут под началом капитана третьего ранга Брума.

Гитлер хотел знать, все ли они уйдут, оставив транспорты в открытом море.

Карлс подтвердил — да, уйдут. Удар будет разгромным.

По донесению адмирала фюреру, уже были начаты одновременно операции «Царь», «Царевич», «Романов», «Петр-Павел», «Иван», «Рюрик» и «Распутин», цель которых — заминировать все подходы и проливы к русским портам. Подлодки и самолеты ставят мины у Карских ворот, в Кольском заливе и в Белом море на трассе к Архангельску.

Разработан также план «Вундерланд» («Страна чудес»). Цель: высадить десанты для организации на берегах Арктики метеостанций и уничтожить порты Диксон и Андерму. Трасса Севморпути тогда для русских перестанет существовать.

...В ходе войны союзники по антигитлеровской коалиции зашифровали все сводки метеонаблюдений. Немецкий воздушный и морской флоты сразу ощутили недостаток этих сведений. Но для успешной войны как воздух нужны были данные о погоде, в частности в Северной Атлантике и Арктике. Метеослужба гитлеровского военно-морского флота и синоптический отдел военно-воздушных сил снаряжали множество экспедиций на архипелаги и острова в Заполярье, которые носили напыщенные названия «Деревянный глаз», «Эдельвейс», «Кладоискатель», «Виолончелист». Они тайно высаживались на необитаемых берегах, разворачивали метеостанции и начинали посылать зашифрованные сводки. Но необходимых результатов эти экспедиции не дали. Норвежские патриоты изгнали одну из них из Адвент-фиорда на Шпицбергене. Американский десант помешал немецкому отряду обосноваться на Ян-Майене. Группа датчан и эскимосов сумела парализовать деятельность одной из самых законспирированных и самых крупных фашистских метеостанций на восточном побережье Гренландии. Советские летчики пулеметным огнем уничтожили немецкую метеостанцию и обслуживающий персонал на острове Междушарском у берега Новой Земли...

После проведения операции «Вундерланд» — продолжал сообщение адмирал Карлс — мы будем иметь свои надежные метеорологические сведения. Русские суда большей частью

будут уничтожены, а оставшиеся без сведений о погоде и ледовой обстановке застрянут во льдах и погибнут сами.

На вопрос Гитлера, когда и какими силами будет проведена эта операция, Карлс дал ее развернутую картину: во второй половине августа по данным разведки к Диксону подойдет с Дальнего Востока крупный караван русских судов с военной техникой для фронта. К этому же времени сюда подоспеет еще караван из Архангельска, идущий на Восток. Это несколько десятков судов, которые будут уничтожены одним ударом. В операции примут участие два тяжелых крейсера «Лютцев» и «Адмирал Шеер» и пять подводных лодок, которые будут вести ледовую разведку и обеспечивать соответствующей информацией командиров крейсеров. В Баренцево и Карское моря будет переброшен еще десяток подводных лодок для нанесения ударов по русским в разных местах, чтобы отвлечь их внимание от операции «Вундерланд».

...Покинув Архангельск одним из первых в навигацию 1942 года — самого трудного из четырех лет войны для моряков Арктики, ледокольный пароход «Александр Сибиряков» под командованием Качарава начал свою обычную работу — снабжал полярные станции всем необходимым, сменяя зимовщиков, разгружая и принимая грузы.

Представьте себе: далеко в открытом море среди разбитых льдов осколок суши — каменный остров. Пароход подходит к нему как можно ближе. Подходит по ориентирам, которые знает, а точнее угадывает капитан, ибо и карты и лодки того времени были еще не совершенными. Корабль бросает якорь. Объявляется аврал. Все, невзирая на чины, выходят на работу. За бортом температура моря и воздуха ниже нуля, ветер, метель. С борта опускают груз в понтоны, которые тянут шлюпки. Шлюпки стараются поближе подойти к берегу, а у берега стоят в воде люди. Они берут груз со шлюпки и несут его к берегу. Прибой то накрывает людей с головой, то тащит в море, то толчком валит с ног. Так выгружаются сотни тонн самых различных грузов. Это и была обычная работа «Александра Сибирякова» все долгие годы его жизни, этим занимался и его капитан Качарава со своим экипажем в то лето 1942 года. Экипаж получал благодарности от Папанина и обходил намеченные пункты. Прошел июнь, июль. Заканчивалось задание первой части рейса...

...Началом навигации того года Папанин был в общем доволен. Ледоколы и транспортные суда благополучно и в срок вышли из Архангельска и достигли Арктики. За лето Глав-

севморпуть должен был провести наши военные корабли с востока на запад. Все они благополучно дошли до Диксона, где располагался штаб морских операций Западного района Арктики. Начало навигации не доставляло особых тревог — все суда были заняты выполнением заданий Госкомобороны. Такая обстановка еще более убедила некоторых руководителей, что враг в Арктику не пойдет, и был издан приказ отобрать у Папанина артиллерию. Папанин обратился к наркому военноморского флота адмиралу Кузнецову с просьбой отменить приказ о демонтаже артиллерии на мысе Желания и на Диксоне, но получил категорический отказ: «пушки нужны на передней линии обороны, а у вас они год без пользы стоят!»

27 июня 1942 года союзнический конвой, о котором докладывал адмирал Карлс Гитлеру еще 1 июня, вышел из Исландии в составе 35 транспортных судов. В составе конвоя были американские, английские и советские пароходы. Уже 1 июля в полдень появился самолет-разведчик противника. Вечером обнаружилась вражеская подводная лодка. Стало ясно, что немецко-фашистскому командованию известно о движении конвоя.

4 июля Британское адмиралтейство получило данные, что навстречу конвою из Норвегии вышли линейный корабль «Адмирал Тирпиц», крейсер «Адмирал Шеер» и 8 эсминцев. Казалось бы, надо усилить конвой силами прикрытия, которые значительно превосходили немецкую эскадру. Но... лорды из адмиралтейства радировали командиру эскорта: «Ввиду угрозы со стороны надводных кораблей противника необходимо рассредоточиться и самостоятельно следовать в русские порты». Отряду крейсеров было приказано на большой скорости уходить на запад. Отряд прикрытия и крейсера ушли тогда, когда конвой входил в зону наибольшей угрозы авиации и подводных лодок. В тот же день в 22 часа по Гринвичу конвой распался. Из 35 судов к советским берегам в разное время пришло только одиннадцать избитых и искромсанных. Они прибывали в Архангельск. Бадин, вместе с Папаниным принимавший грузы, будет вспоминать: «На палубах транспортов встречались заржавленные танки в поврежденных ящиках. Отражая нападения гитлеровцев, моряки, желая помочь своим артиллеристам, ломали упаковку и из танковых пушек стреляли по вражеским подводным лодкам и торпедоносцам. В конце июля в Архангельск пришли последние корабли, оставшиеся от конвоя. На моряков, сходящих на

причалы, было тяжело смотреть. Худые, изможденные, многие в перевязках, некоторых выносили на носилках: у них были ампутированы обмороженные ноги».

«Я разговаривал со многими капитанами и матросами, англичанами и американцами, — пишет Бадигин. — Они возмущались не потерями конвоя, которых во время войны не избежать. Они искали ответа на мучавший их вопрос: «Почему нас бросили военные корабли?»

Английский историк много лет спустя подсчитает, что в связи с разгромом конвоя до Архангельска из 430 танков дошло 164, уцелело 87 самолетов, а погибло 210, пошли на дно 3350 автомашин и тягачей, потеряно около 100 тысяч тонн военного снаряжения. Это был для нас бесценный груз!

Немецко-фашистское командование после разгрома конвоя смогло свои военно-морские и военно-воздушные силы обратить на север европейской части СССР, послать их и в Арктику с целью вывести из строя Северный морской путь. Была подвергнута нападению полярная станция на Малых Кармакулах, куда незадолго до этого доставил грузы «Александр Сибиряков» — на станции были людские потери; вскоре был потоплен пароход «Крестьянин»; у острова Матвеев близ входа в пролив Югорский Шар две немецкие подлодки потопили два буксира — «Норд» и «Комсомолец» и две баржи. Погибли 305 человек, в основном пожилые мужчины, старики, женщины и дети. Это были рыбаки, строительные рабочие, члены семей полярников... На подходе к острову Диксон был потоплен пароход «Куйбышев».

24 августа 1942 года Папанин получил радиogramму с полярной станции на мысе Желания, где подлодка обстреляла жилой дом полярников, радиостанцию, склады и, если бы не заговорила наша артиллерия, завезенная еще в прошлом году по указанию Папанина, чем бы это кончилось, можно только предполагать. Нападением на мыс Желания началась операция «Вундерланд», но об операции и планах фашистов стало известно лишь через много лет.

В этот же день 24 августа 1942 года капитан первого ранга Монд, который возглавлял в Архангельске английскую военно-морскую миссию, посетил Папанина.

— По сведениям нашей разведки, 16 августа фюреры Северной Норвегии покинул германский тяжелый крейсер «Ад-

мирал Шеер». Наши самолеты потеряли его из вида, и мы не знаем, где он находится сейчас, — сказал он.

В тот день тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» в сопровождении подводных лодок был уже в Карском море у трассы Северного морского пути.

Фашистская Германия подобных кораблей имела три: «Адмирал Шеер», «Граф Шпее» и «Лютцев». Все три были построены в обход Версальского договора, по которому Германия не имела права строить корабли тоннажем выше десяти тысяч тонн. По вооружению и бронированию они превосходили все крейсера, которые существовали тогда в мире, кроме английского линейного крейсера «Худ». Все они были мощно вооружены. «Адмирал Шеер», например, имел шесть 230-миллиметровых и восемь 150-миллиметровых орудий, 14 крупнокалиберных пушек, восемь торпедных аппаратов, множество пулеметов, что давало крейсеру возможность успешно напасть на противника и обороняться от воздушного налета. «Шеер» был обшит в 178-миллиметровую броню, что делало его плавающей крепостью. Он имел на борту разведывательный самолет. Крейсер был предназначен для рейдов, то есть набегов, поэтому и назывался рейдером, имея дальность плавания в 21 500 миль и значительную скорость — 28 узлов. Его стандартное водоизмещение составляло 12 000 тонн.

Крейсер с подлодками вышел в море в условиях стражайшей секретности. Только вдали от берегов командир вскрыл пакет с боевым приказом по выполнению операции «Вундерланд», в котором говорилось, что «...главный объект нападения — русские конвои, в особенности, идущие с Востока...»

После встречи с главой военной миссии Великобритании в Архангельске Папанин поспешил к командующему Беломорской флотилией вице-адмиралу Степанову с просьбой отдать приказ искать фашистский рейдер в Карском море. «Шеер» наверняка уже там. На Диксоне один караван готовится на Восток, а другой с вооружением будет идти к нам. Иван Дмитриевич настаивал, чтобы Степанов звонил в Москву своему наркому — пусть тот отменит приказ о демонтаже пушек на Диксоне.

На Диксон пошла срочная радиограмма: «На арктических коммуникациях возможно появление вражеского рейдера. Всем судам срочно покинуть порт и укрыться за проливом Вилькицкого».

Суда срочно покинули Диксон. Ушел и ледокольный па-

роход «Александр Сибиряков», прервав авральные работы по загрузке судна. Он успел уложить в трюмы только 567 тонн различного груза для полярной станции на мысе Арктический и для метеорологов на других островах Ледовитого океана, засыпать 420 тонн угля в бункеры и, не смыв с себя угольную пыль, взял курс на Северную Землю.

...Командир крейсера «Адмирал Шеер» капитан первого ранга Меендсен-Болькен был опытным воякой, имевшим на своем счету двадцать шесть потопленных кораблей. Это был решительный, хитрый, расчетливый пират, не знавший поражений и неудач. Он понимал, что плавания во льдах, которые преграждают путь в Арктике и в самые теплые летние дни, требуют опыта. Затопленные айсберги, ледовые поля, частые туманы, опасность попасть в ледовый плен, объятия которого страшны даже для бронированных бортов рейдера, — все это настораживало. Подводные лодки подсказывали ледовую обстановку в ближайших милях. Но командиру не хватало прогноза погоды хотя бы на ближайшее время. Он вел корабль наощупь. Однако приказ: атаковать и уничтожить русские транспорты, уничтожить Диксон и Андерму, высадить десанты для захвата метеосведений и организовать синоптические пункты — должен быть выполнен.

«Адмирал Шеер» шел в постоянном радиомолчании, чтоб не выдать себя. На борту были опытные специалисты по радиоперехвату, очень внимательно прослушивавшие эфир.

Две подлодки, посланные за метеосведениями, напав на станцию на мысе Желания, были отогнаны огнем русской артиллерии. Десант высадить не смогли.

С борта не раз взлетал самолет. Но туманы и плохая видимость мешали разведке с воздуха. Однажды летчик обнаружил караван из транспортных судов и ледоколов, но густой туман остановил крейсер. По данным радиоперехватчиков дальневосточный караван, о котором заблаговременно сообщили японцы, находился тоже очень недалеко. Как объяснил потом Меендсен-Болькен, между рейдером и русскими кораблями стоял сплошной тяжелый лед, и сам рейдер едва не оказался в ледовом плену, а потому отошел в западную часть моря.

Благодаря туману и плохой видимости «Шеер» оставался незамеченным и никто его не преследовал. Маневрируя среди льдов, не имея опыта плавания в таких условиях, командир крейсера никак не мог обнаружить русские суда. Об

становка осложнилась после аварии бортового самолета-разведчика.

Нужны были сведения о погоде, льдах и караванах как никогда. Под угрозой срыва оказывалась вся операция «Вундерланд».

25 августа в 11 часов 45 минут командиру доложили:

— С юго-запада идет пароход!

Меендсен-Болькен вооружился биноклем: на горизонте, покачивая двумя мачтами, оставляя за собой шлейф дыма, шло судно. Это был ледакольный пароход «Александр Сибиряков».

— Идти на пересечение! Идти без флага. Позывных не давать. Приготовить артиллерию к бою! — команда разбежалась по местам. Командир вызвал десантную группу:

— Приготовить к спуску катер, — приказал он. — Десанту снять с борта капитана, радиста, шифровальщика и доставить на крейсер. Необходимо захватить карты, лоции, сведения ледовой обстановки, шифры, метеосводки, сведения о караванах.

...А на «Сибирякове» жизнь шла обычным чередом. Корабль «умылся» шлангами забортной водой, посвежел и расцвет встретил чистым и аккуратным. Команда отдыхала после авральных работ. Буфетчица Наталья Петровна Ранкис прошла по каютам комсостава, приглашая к чаю, но все спали. Она накрыла полотенцами чайник, чтоб не остыл, и сама прикорнула в кресле.

С утра море было ласковым, темно-синим, сверкающим. Таким Карское море бывает в очень редкие летние дни. С водой резко контрастировали ослепительные ледяные поля, которые казались плотными, но стоило «Сибирякову» подойти ближе, поля распались на отдельные льдины. Пароход маневрировал. Шел он малым ходом, оберегая от ударов корпус.

Вдруг с крыла мостика послышался тревожный голос сигнальщика:

— С левого борта в тридцати градусах по курсу вижу силуэт военного корабля!

Качарава прильнул к дальномеру и увидел крейсер, идущий наперерез «Сибирякову». Было 11 часов 50 минут. Капитан дал команду:

— Боевая тревога! По местам стоять! Орудия к бою!

Завыли сирены, зазвонили колокола громкого боя, команда заняла свои места у орудий, пулеметов, усилились вахты!

на мостике и в машинном отделении, развернулся лазарет, приготовили противопожарные шланги, открылись люки погребов, где хранились боеприпасы. Сибиряковцы научились рейсе все делать быстро, точно. Теперь это пригодилось.

Комиссар по привычке вел хронометраж и не мог не отметить четкую, слаженную работу экипажа: пароход в течение нескольких минут был готов к бою.

— Лево на борт! Полный вперед! Поджечь дымовые шашки! — это была попытка обмануть врага и укрыться от его артиллерийского удара за остров Белуха. Много лет спустя военные специалисты, разбирая, как говорят, по косточкам, бой «Сибирякова» с «Шеером», отметят единственно правильный в таких условиях ход, предпринятый капитаном Качарава. Но льдины и недостаточная мощность машины не позволили до конца выполнить намеченный маневр.

Впереди по курсу раздался взрыв. Это был предупредительный выстрел.

— С корабля работает сигнальный прожектор: «Кто вы? Куда следуете?» Приказывает подойти поближе! — доложил сигнальщик Алексеев.

— Запроси сам: «Кто он? Куда следует? Название? Национальность?» Радиста ко мне.

Вбежал Юрий Гайда.

— Передай на Диксон о встрече с фашистским кораблем! — сказал капитан.

Крейсер быстро приближался. Он рос на глазах. Одна за другой проносились в голове Качарава мысли: что с караванами, судами, ведь они совсем недавно ушли с Диксона. На мостик поднялся Шершавин — известный в Арктике радист. Начальник радиостанций на многих зимовках, он шел на мыс Арктический. Попросил разрешения работать с Гайда. Юрий уже отстукивал: «Районе Белухи обнаружен фашистский крейсер. Запрашивает: кто мы, куда идем».

— Комиссар, вызови на мостик старшего механика и шифровальщика! — обратился Качарава к Элимелаху. Комиссар сошел с мостика на палубу. У пожарного крана с перетянутым через плечо противогазом стояла на своем посту тетя Наташа — Наталья Петровна Ранкис. Рядом вытянулась Анна Васильевна Котлова — уборщица, добрая услужливая тетя Аня. Она широкими немигающими глазами смотрела на крейсер.

Когда на мостике собрались стармех, шифровальщик и комиссар, капитан обратился к шифровальщику:

— Михаил Васильевич, это немцы. Я думаю, что они хотят использовать нас как «языка». Им нужны сведения о погоде, о льдах, о караванах. Нужен шифр! Подготовка все к уничтожению. Приказа больше не жди: все спалить огнем!

Кузнецов утвердительно кивнул головой и решительно ушел в каюту, где в сейфе хранились сведения, за которыми охотился «Шеер».

— Крейсер отвечает: «Я «Тускалуза»! — крикнул сигнальщик Алексеев. — Поднял американский флаг!

— Еще раз запроси: «Национальность». — Качарава обратился к старшему механику Бочурко:

— Ну, Николай Георгиевич! Выжми из машины все, что можешь: но учти — ни одна фашистская гадина не должна ступить на наш «Сибиряков»! Поэтому приказываю: быть у кинстонов готовым утопить пароход, если будет ясно, что больше ничего сделать нельзя!

Бочурко — старший механик «Сибирякова» — плавал на пароходе давно. Он мог бы рассказать, как еще молодым мотористом ходил на нем за хлебом к Енисею, как механиком прошел весь Северо-морской путь. Многого повидал Бочурко. Он мог вспомнить, как лазил под лед, когда «Сибиряков» сломал винты, как карабкался на мачты крепить самодельные паруса, сшитые из брезента для твиндеков, чтобы дать ход пароходу...

— Крейсер передает: «Я «Сисияма»! — крикнул Алексеев.

— Японцем прикидывается! — Качарава определил на глаз расстояние. «Теперь наши снаряды и пули попадут по цели» — решил капитан.

— Крейсер требует сдачи в плен и прекращения работы радиостанции!

Вбежал Юрий Гайда:

— Крейсер забивает работу радиостанции, переходим на другую волну. Диксон сообщил, что в нашем районе нет ни американских, ни японских кораблей, — добавил радист. — Просит не давать никаких сведений! — И Гайда ушел в радиорубку.

— Крейсер передает: «Прекратите работу радиостанции! Застопорьте машину, опустите флаг! Сдавайтесь в плен!» — доложил Алексеев и крикнул: — Крейсер поднял флаг с фашистской свастики!

— Снял маску, сволочь! — прошептал Качарава.

— Эх, Анатолий Алексеевич! — проговорил комиссар.

— Хотя одну бы нам крупнокалиберную пушку!

Качарава разглядывал крейсер в бинокль:

— Смотри, комиссар, сколько народа собралось на палубе. Высыпали посмотреть, как сибиряковцы сдаваться будут. Сейчас увидят!

Расстояние сокращалось. Капитан приказал:

— Машина, полный вперед! Право на борт!

— Крейсер требует выполнить приказ! — донесся голос Алексева.

— Передавай: «Выполняем приказ Родины», — и дал команду:

— По фашистам огонь!

Пушки и пулеметы «Сибирякова» загрохотали.

«Эх, Никифоренко! Молодец! Тебе бы арtpолком командовать!» — подумал комиссар о начальнике артиллерии парохода Никифоренко.

— Лево на борт!

Грохнул залп с «Шеера». Взрывами снесло фор-стенгу и повредило радиостанцию. Шершавин перешел работать на аварийный передатчик. Юрий Гайда лежал с пробитой осколком головой.

— Погиб старпом Судаков! — доложили на мостик по телефону.

— Руль прямо! Держать в борт фашиста! — командовал капитан.

Пароход, набирая скорость, извергая из себя рой снарядов и пуль, пошел на таран.

Второй залп накрыл корму «Сибирякова», захлебнулись пушки, погибли артиллеристы и все, кто им помогал. Третий залп разнес носовую часть, где были нары, собаки. Вспыхнул бензин. Снаряд пробил ботдек и взорвался в котельном отделении. Из строя вышел левый котел. Машина остановилась.

Крейсер отошел от судна и стал бить по пароходу главными калибрами с расстояния 52 кабельтов снарядами весом по 300 килограммов. В ответ вновь заработали пушки с кормы — кто-то заменил убитых.

Снаряд угодил в мостик и радиорубку. Снесло антенну. Шершавин прицепил к аварийной станции провод и передал: «Продолжаем вести бой. Имеем прямые попадания в мостик, радиорубку, объаты огнем, горим...»

Резкая боль прошла по всему телу капитана. Все поплыло в глазах, и Качарава свалился на палубу.

— Врача! — закричал комиссар и бросился к капитану, не замечая, что у него из рукава сочится кровь.

Прибежала сама уже перевязанная Валя Черноус с санитаркой Варварой Александровной Десневой. Валя быстро стала оказывать помощь тяжело раненному в живот и руку капитану. Он был без сознания.

Взрыв потряс мостик вновь. Закрыв собой капитана, за смертью упала врач Черноус. Деснева осела у руля, где лежал убитый матрос, обхватив окровавленную голову. Вдруг заработала машина, комиссар ухватился за руль и стал разворачивать пароход на крейсер. Пылая и отстреливаясь, «Сибиряков» вновь пошел на врага, но еще одно попадание в машинное отделение разметало и левый котел. Из трубы повалил густой дым с копотью, но тут же затих. На мостик поднялся обожженный боцман Павловский.

— Что делать, комиссар? — спросил он. — Аварийная команда не в силах справиться с пробоинами.

Несколько матросов окружили боцмана — это все, что осталось от палубной команды.

— Спасайте женщин, а потом подумаем о себе! — распорядился комиссар. Женщин — жен зимовщиков, сотрудников станций и сибиряковцев — собралось более десяти человек. Павловскому и матросам удалось спустить шлюпку, посадить туда женщин и оттолкнуть их от борта. Ранкис и Котлова взяли за весла и уже отгребли от горящего судна метров на десять, когда рядом в воду упал снаряд, взорвался и взрывной волной перевернул шлюпку. Всех поглотило море.

Раздалась команда:

— Всем покинуть судно! — Это командовал комиссар. Боцман взял двоих матросов на мостик, а другим приказал постараться спустить еще одну шлюпку. Павловский поднялся на мостик, который был завален разбитыми перегородками и погибшими.

— Всем покинуть судно, — глядя на боцмана, снова прохрипел в микрофон израненный комиссар.

В эфир пошла последняя радиограмма: «Комиссар приказал покинуть судно. Горим. Прощайте. 14 часов 05 минут. Шершавин».

Павловский посмотрел на лежащего капитана. Качарава вдруг застонал.

--- Жив! — выкрикнул боцман. — Помогите, ребята!

Капитана подхватили, понесли сквозь огонь и дым. Шлюпка уже была на плаву с не видимой для немцев стороны. В нее уложили тяжелораненых, среди них и капитана. Налегли на весла. Шлюпка быстро стала удаляться от «Сибирякова».

Комиссар с помощью переговорной трубки связался с машинным отделением:

- Бочурко!
- Есть, комиссар!
- Немцы на катере приближаются!
- Вижу!
- Выполняй приказ капитана!
- Прощай, Коля!

Бочурко открыл кинстоны, вода ворвалась на судно. Ледокольный пароход «Александр Сибиряков» стал быстро уходить в волны Карского моря, а с носовой части еще бил уцелевший пулемет — кто-то отстреливался до последнего. Над судном вился по ветру изрешеченный, обожженный, но не сдавшийся врагу красный флаг!

Дым быстро унесло ветром. Волны сомкнулись над «Сибиряковым», на море как на ладони осталась только шлюпка. На ней все оцепенели и, пораженные страшным зрелищем, плакали. К шлюпке приближался катер, с которого сыпались автоматные очереди.

Командир крейсера в донесении напишет: «Несмотря на совершенно очевидное неравенство сил, пароход ответил огнем... Крейсер стрелял обеими башнями из 280-миллиметровых пушек. Всего сделал 27 выстрелов. «Сибиряков» получил четыре прямых попадания, загорелся, остановился, продолжая стрелять. Крейсер спустил катер и вылавливал в воде оставшихся в живых. Некоторые сопротивлялись и тонули»... — это написано в отчете врага.

Шлюпка с моряками была взята в плен гитлеровцами. Те, кто мог, дрались с фашистами ножами, кулаками... Они были убиты и выброшены в море. Израненным упал боцман Павловский. Ему заломили руки. Истекая кровью, в шлюпке лежали без сознания начальник полярной станции Золотов, радист Шершавин, матросы Малыгин, Сараев, Тимофеев, повар Зайцевский, кочегар Воробьев и капитан Качарава.

Когда советских моряков доставили на борт «Шеера», командир крейсера спросил:

- Кто они?
- Неизвестно. Все без сознания и тяжело ранены.
- Привести в сознание. Допросить.

Советские моряки во главе с капитаном Качарава и в плену остались честными патриотами своей великой Родины. Враг не получил от них никаких сведений и не узнал, кто они. Капитана моряки выдали за рулевого. Не добившись от сибиряковцев никаких сведений, гитлеровцы заключили их в железный карцер. Это была горстка израненных людей, оставшихся в живых из 125 человек, находившихся на «Сибирякове» до боя.

Капитан Анатолий Алексеевич Качарава и все сибиряковцы в бою, который длился около двух часов, с честью выполнили свой долг: порт Диксон и караваны судов были предупреждены о появлении фашистского рейдера; крейсер был задержан, что дало возможность транспортам и ледоколам пробиться сквозь льды через пролив Вилькицкого в море Лаптевых; враг не получил никаких сведений. Они спасли 14 океанских судов с драгоценным военным грузом.

Радиограммы, посланные в эфир по приказу капитана Качарава, подняли на ноги всех на Диксоне, на всей трассе Севморпути и в Архангельске.

Первый секретарь Архангельского обкома ВКП(б) Г. П. Огородников позвонил Председателю Государственного комитета обороны и доложил, что немцы начали активные боевые действия против советского арктического флота. Получена радиограмма с «Сибирякова», который ведет бой с крейсером «Адмирал Шеер» в районе острова Белуха, недалеко от Диксона, где, по докладу Папанина, два встречных каравана уже выводятся за пролив Вилькицкого. Папанин и Степанов дали соответствующие указания своим кораблям, судам, самолетам. Однако на Диксоне демонтируются пушки. Папанин просил оставить их там, но Кузнецов...

В ответ услышал:

— Сейчас командующий Северным флотом Головкин получит приказ: в связи с резким изменением обстановки пушки с Диксона не снимать. Необходимы предложения Архангельского обкома по укреплению обороны арктических трасс, и побыстрее. Перед Северным транспортным флотом вскоре встанут новые и ответственные задачи. Вопрос обороны Северного морского пути будет предметом специального обсуждения на заседании Политбюро ЦК ВКП(б)... Ставка Гитлера оповестила, что город Архангельск и порт сожжены.

— Город усиленно бомбят, — ответил Огородников. — Пожаров много. Но мы их тушим. Порт работает беспрерыв-

но. Думаем, что бомбежками немецкое командование хочет отвлечь внимание от своего крейсера.

По решению Государственного Комитета обороны в Архангельск перебрасывался зенитный полк. А архангельцы отправляли два батальона моряков-добровольцев Северного флота на защиту Сталинграда.

...Встреча крейсера «Адмирал Шеер» с ледокольным пароходом «Александр Сибиряков» сорвала с пирата покрывало секретности.

Меендсен-Болькен вызвал к себе офицеров — артиллеристов и десантников и поставил перед ними задачу — идти на Диксон с расчетом нанести по нему удар всей артиллерией. Высадить десант из 180 человек. Десант должен быть внезапным. Его цель — захватить в плен руководящий состав штаба западного сектора Севморпути, поджечь угольные склады, уничтожить радиостанцию. Затем полностью разрушить порт и все строения. Всей артиллерии обеспечить успех десанта, а затем уничтожить все в поле видимости.

Но на Диксоне не теряли времени даром. До прихода «Шеера» три парохода, оставшихся на острове, были укрыты так, чтобы могли своей артиллерией помочь порту. Развернулись гаубицы на площадке, соединяющей главный причал порта с берегом. Были созданы и вооружены противодесантные дружины. В тундре устроили склад, где находилась и запасная радиостанция...

В час ночи 27 августа крейсер заметили с Диксона. Немедленно была объявлена тревога. Фашистский пират встал на внешнем рейде порта, заняв выгодную позицию, открыл залповый огонь. Артиллерия с пароходов и береговые батареи ответили ему сразу же. «Адмирал Шеер», получив прямые попадания по юту, в район фок-мачты и в носовую часть, не выполнив задания, покинул поле боя.

Операция «Вундерланд» провалилась. У острова Медвежий крейсер был взят под эскорт немецких эсминцев и к исходу дня 30 августа 1942 года отдал якорь в порту Норвик.

9 апреля 1945 года «Адмирал Шеер» был потоплен авиацией союзников в Киле.

Не добившись ничего от плененных моряков-сибиряковцев, гитлеровцы передали их другим палачам в концлагерь Данциг. Здесь началась новая борьба, не менее тяжелая, не менее опасная...

Единственным человеком, который и не погиб и не попал в

плен, оказался Павел Иванович Вавилов. Он был кочегаром на «Сибирякове» и оставался со старшим механиком Бочурко до тех пор, пока Николай Георгиевич не приступил к выполнению последнего приказа капитана Качарова. Бочурко заставил Вавилова выпрыгнуть в море. Павлу Ивановичу повезло зацепиться за пустую шлюпку и остаться не замеченным для врага. Вавилов сумел добраться до острова Белуха, где продержался 34 дня. Его заметил и доставил на Диксон летчик гидросамолета Черевичный. Вавилов и рассказал о судьбе «Сибирякова», о подвиге комиссара З. А. Элимелаха и стармеха Н. Г. Бочурко, о пленении группы сибиряковцев. Но кто попал в плен, — Вавилов не знал.

Трудная судьба досталась пленным сибиряковцам. Не выдержали мучений и умерли П. И. Воробьев, И. Г. Малыгин, С. М. Зайцевский. Немцы все же докопались, кто такие на самом деле А. Н. Золотов, А. Г. Шершавин и А. А. Качарова. Всех приговорили к расстрелу. Это было весной 1944 года.

От смерти на этот раз спасла Анатолия Алексеевича наша армия, внезапным ударом ворвавшаяся в Данциг и освободившая узников фашизма.

За бой с крейсером «Адмирал Шеер» А. А. Качарова был награжден орденом Боевого Красного Знамени, а комиссар З. А. Элимелах и стармех Н. Г. Бочурко — посмертно орденами Отечественной войны. За отличный труд высокое звание Героя Социалистического Труда уже в мирное время было присвоено П. И. Вавилову.

Капитан Качарова долгие годы командовал на Севере парходом «Тбилиси», в 60-е — стал организатором Грузинского морского пароходства.

...В точке 76°12' северной широты и 91°30' восточной долготы в Карском море корабли приспускают флаги в честь погибшего здесь ледокольного парохода «Александр Сибиряков» — труженика, исследователя, воина. 25 августа, в день гибели легендарного парохода, на волны ложатся цветы и венки, на которых алые ленты с золотыми буквами: «Вечная память героям».



«ИЗ КРЫМА ПУСТИЛСЯ В ГРУЗИЮ...»

В августе двадцатого года после пяти или семи суток плавания «ветхая баржа, которая раньше плавала только по Азову», стала на батумском рейде¹. Вечером с палубы город казался «гигантским казино, горящим электрическими дугами, светящимся ульем, где живет чужой и праздный народ... Утром рассеялось наваждение казино и открылся берег удивительной нежности холмистых очертаний — словно японская прическа — чистенький, волнистый, с прозрачными деталями, карликовыми деревцами, которые купались в прозрачном воздухе и, оживленно жестикулируя, карабкались с перевала на перевал. Вот она — Грузия!..» («Возвращение»).

Прием, однако, был не особенно гостеприимным: Мандельштам с братом Александром препроводили в тюрьму, точнее в карантин — с тем, чтобы отправить обратно во врангелевский Крым².

В том, что этого не произошло, возможно, сыграла роль договоренность между РСФСР и Грузией о правилах взаимного въезда и выезда их граждан, ограничивавших передвижение лишь лиц, находившихся под следствием.

Эту историю подробно описывает Николо Мицишвили:

«В 1919 (1920 — П. Н.) году летом в Батум приехал из

¹ Скорее всего это произошло примерно 10 сентября (12 сентября тбилисское «Слово» сообщило о прибытии Мандельштама в Батуми и о его аресте в связи с недоразумениями с визой).

² В то время в городе была зафиксирована вспышка чумы.

Крыма известный русский поэт Осип Мандельштам. Приехал он на маленьком пароходе в числе десяти каких-то сомнительных пассажиров. Все они были арестованы береговой охраной.

В те времена я и поэт Тициан Табидзе жили в Батуме. Как-то раз на улице настигает нас какой-то старичок, останавливает и говорит, что он старшина местной еврейской общины, и спрашивается — известен ли нам поэт Мандельштам. Мы ответили, — да, известен.

— Если так, — сказал старик, — поэты должны помочь поэту: Мандельштам арестован и сидит в Особом отряде.

Мы пошли в Особый отряд. Нам сказали, что среди арестованных на самом деле есть какой-то Мандельштам, но невозможно, чтоб это был наш знакомый: такой уж он непоэтический на вид.

Самого Мандельштама нам не показали, и мы, усомнившись в правильности подхода к поэзии со стороны Особого отряда, отправились к генерал-губернатору Батумской области.

— Посмотрим, что это за человек, — ответил он и тотчас же распорядился по телефону доставить Мандельштама к нему.

Доставили...

Губернатор взглянул на него и обратился к нам по-грузински:

— Я думал, в самом деле какой-нибудь такой... а этот!.. На него дунуть — улетит. Нашли тоже опасного человека...

Затем усадил вошедшего, дипломатически выяснил, что он действительно поэт Мандельштам, и вежливо извинился.

Мандельштам, как воробей, присев на край стула, начал рассказывать.

(...) От красных бежал в Крым. В Крыму меня арестовали белые, будто я большевик. Из Крыма пустился в Грузию, а здесь меня приняли за белого. Какой же я белый? Что мне делать? Теперь я сам не понимаю, кто я — белый, красный или какого еще цвета. А я вовсе никакого цвета. Я — поэт, пишу стихи и больше всяких цветов теперь меня занимают Тибул, Катулл и римский декаданс...»³.

[Впервые это было напечатано в 1930 г. в книге Н. Мицишвили «Тень и дым», вышедшей в ГИХЛе. Письмо З. Черняка, редактора книги, к автору сохранило для нас реакцию

³ Цит. по кн.: Н. Мицишвили. Пережитое. Тбилиси, 1963, с. 164—165.

Мандельштама на этот прижизненный мемуар о событиях десятилетней давности: «Забыл упомянуть, что на днях говорил случайно с поэтом Мандельштамом, который рвет и мечет по поводу строк, посвященных ему в Вашей книге. Особенно волновался Мандельштам из-за ваших «цветовых» характеристик («...а я не белый и не красный...») — и требовал, чтобы я устранил их из рукописи. Я ему, разумеется, указал, что редактор не вправе вносить такого рода изменения, что редактор обязан вмешаться лишь в тех случаях, когда мемуарист искажает исторически бесспорные даты и т. д. Моим резонам Мандельштам, к сожалению, не внял — так что ждите от него грозного послания, смертоносное действие которого может быть ослаблено разве только тысячекилометровым расстоянием, отделяющим Вас от пылкого и по-африкански темпераментного поэта»]⁴.

Примерно в том же духе, что и грузинские поэты, описывает в своих мемуарах вызволение Мандельштама и Илья Эренбург. Его, однако, сочла необходимым поправить Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова поэта. Она рассказывала, что грузинские поэты, действительно, пришли в портовый карантин, где содержался Осип Эмильевич с братом Александром. Они предложили поручиться за Мандельштама и моментально освободить его, но за его брата поручаться не стали. На таких условиях Мандельштам, разумеется, принять личную свободу не мог. Помог Мандельштаму, как он это сам описывает в очерках «Возвращение» и «Меньшевики в Грузии», конвойный солдат Чигуа, сочувствовавший большевикам, хотя не исключено, что грузинские поэты, уезжая, предупредили о Мандельштаме чрезвычайного комиссара Батуми и области В. Г. Чхиквишвили, вмешательство которого окончательно решило вопрос о свободе братьев Мандельштамов.

Пребывание Мандельштама в Грузии в 1920 г. было недолгим, но все же оставило след в литературной жизни Батуми и Тбилиси. Батумские газеты («Эхо Батума» и «Батумская жизнь») сообщили о вечере О. Мандельштама в батумском ОДИ (Обществе деятелей искусства) 16 сентября, а «Батумская жизнь» даже поместила отчет о нем (сообщено Р. Д. Тименчиком).

Прибыв в Тбилиси, Мандельштам ненадолго окунулся в гуцу довольно-таки бурной культурной жизни города. О пер-

⁴ ЦГАЛИ, ф. 613, оп. I, ед. хр. 7122, л. 209.

Вом его приезде в Тбилиси подробно рассказал И. Эренбург, повстречавшийся с ним там («Люди. Годы. Жизнь» — «Новый мир», 1960, № 9, с. 147).

Октябрь 1920 г. № 124.

ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРИИ
Воскресенье, 28-го сентября

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЕЧЕРЪ ПОЭТОВЪ
О. МАНДЕЛЬШТАМА
И
И. ЭРЕНБУРГА

I. Гр. Ребиндзе — Слова новой грузинской поэзии.	III. О. Мандельштамъ — Стихи изъ книги „Камешъ“ и новые стихи.
II. И. Эренбургъ — Искусство и поэзия вѣра. Стихи изъ книги: „Огонь“ и „Новые Звѣзды“.	IV. И. И. КОДОТОВЪ — Стихи О. Мандельштама и И. Эренбурга.

Фрагмент газеты «Грузия»

Во второй раз Мандельштам приехал в Тбилиси с женой в июле 1921 года. То лето и осень они провели в Тбилиси, а август и сентябрь — в Батуми. В Тбилиси, вспоминает Колау Надирадзе, их поселили в одной из комнат Дворца искусств — особняка, ранее принадлежавшего известному меценату Д. Сарраджишвили (ныне Дом писателей Грузии). Потом они переехали в комнату в одном из старых домов⁵.

В этот приезд Мандельштам глубоко проникся духом грузинской поэзии. К. Надирадзе вспоминает: «Грузинские стихи он слушал как музыку, просил при этом читать помедленней, выделяя мелодию (о том же просил и А. Белый) и не всегда даже расспрашивал о содержании. Звучание некоторых стихов так его очаровывало, что он старался заучить их, подбирая к непривычным для русского слова звукам довольно близкие русские фонетические эквиваленты. Больше других восторгался он Бараташвили и Важа Пшавела, знал наизусть бараташвилевскую «Серьгу» в переводе Валериана Гаприндашвили...».

⁵ Двор этого дома (по ул. Барнова, 35) сохранился. Поэт с женой жили на втором этаже.

Действительно, за те полгода, которые Мандельштам с женой провел в Грузии, он настолько прочно вошел в культурную жизнь Тбилиси, что петроградский «Вестник литературы» сообщил в хронике, что «поэт О. Мандельштам переехал в Тифлис»!⁶

Веселому и непритязательному Мандельштаму неплохо жилось и хорошо работалось в Грузии в 1921 году — в атмосфере дружеского участия со стороны грузинских поэтов и посольства РСФСР в Грузии (посол Б. В. Легран⁷ взял Мандельштама на службу, на которой тому полагалось делать вырезки из газет). М. Булгаков отозвался об их жизни в Грузии как о «бедной, гордой и поэтически беспечной». Именно здесь, по свидетельству Н. Я. Мандельштам, у него «прорезался новый голос» — тот самый голос, которым выговорены стихи следующего за «Камнем» и «Tristia» этапа его творчества — 1921—1925 гг. Недаром в книге «Стихотворения» (1928) вторым в этом разделе шло «Умывался ночью на дворе...». Впервые оно было напечатано в первом номере тбилисской русской газеты «Фигаро» от 4 декабря 1921 г. (редактировавшейся Н. Мицишвили).

О полугоде тбилисской жизни Мандельштамов известно не так много. Первою сводкой свидетельств о ней явилась статья А. Е. Парниса «Заметки о пребывании Мандельштама в Грузии в 1921 году» (В кн.: «Авангард в Тифлисе». Венеция, 1982, с. 211—223). Он сообщает о лекции в батумском Центросоюзе в августе 1921 г., прочитанной Мандельштамом в связи с кончиной Блока, о двух поэтических выступлениях в Тифлисском цехе поэтов, о зачислении Мандельштама 5 октября 1921 г. в действительные члены Союза русских писателей. Мандельштам активно сотрудничал в «Фигаро», участвовал в различных диспутах и вечерах, даже преподавал в Театральной студии, организованной в Тбилиси Н. И. Ходотовым⁸.

Особого разговора заслуживает неожиданно активная переводческая деятельность Мандельштама в Грузии. «Сам по себе переводческий труд Мандельштам недолюбливал, —

⁶ 1922, № 2, с. 23.

⁷ В 1920 году он был также полномочным представителем РСФСР в Грузии (до С. М. Кирова), затем в Армении. Не исключено, что встречался с Мандельштамом и в сентябре 1920 г.

⁸ См. в его кн. «Близкое — далекое». Л.-М., 1962, с. 267.

вспоминает К. Надирадзе, — но тем не менее он оставил после себя несколько прекрасных переводов с грузинского.

Что же это за переводы?

Прежде всего — поэма Важа Пшавела (по свидетельству Н. Я. Мандельштам, подстрочник подготовили Т. Табидзе и П. Яшвили). В упомянутом выше первом номере «Фигаро» от 4 декабря 1921 года сообщалось: «О. Мандельштам закончил перевод на русский язык поэмы Важа Пшавела «Гоготур и Апшина». Перевод одобрен и принят Наркомпросом к печати⁹. Та же поэма переведена также и А. Кулебакиным. На днях во Дворце Искусств состоялось чтение обоих переводов, после чего были устроены прения».

Интерес Мандельштама вызвала поэзия «голубороговцев». Для первой русской антологии «Поэты Грузии», изданной в Тбилиси в самом конце 1921 года (составитель Н. Мицишвили), он перевел пять стихотворений — «Бирнамский лес» Тициана Табидзе, «Пятый закат» и «Кауфер» Валериана Гаприндашвили, «Прощание» Н. Мицишвили и «Автопортрет» Георгия Леонидзе. Кроме того, для изданной в 1922 году книги Иосифа Гришашвили «Стихотворения» — «Перчатки» и «Мариджан». Наконец, в № 4 «Фигаро» (от 6 февраля 1922 г., т. е. уже после отъезда Мандельштама из Тбилиси) сообщалось, что из печати вышло новое произведение армянского поэта-футуриста Кара-Дарвиша — посвященное поэту Г. Робакидзе стихотворение «Пляска на горах» в переводе О. Мандельштама. А. Е. Парнис справедливо пишет: «...Работа над этим переводом еще до выхода на активный контакт с национальной культурой и была зарождением армянской темы, ставшей в зрелый период поэта важным этапом его творчества».

Весной и осенью 1930 года Мандельштам с женой снова побывал в Грузии. Пребывание в Сухуми и Тбилиси как бы обрамило его знаменательную поездку по Армении, описанную в «Путешествии в Армению».

В Сухуми поэт провел шесть недель, дожидаясь вызова в Армению. Ему отбелы «солнечную мансарду в так называемом «доме Орджоникидзе», — «оцепленной розами, никем не заслуженной, блаженной даче» — вынесенной над городом, «как на подносе срезанной горы».

Как ни удивительно, но о пребывании Мандельштама собственно в Тбилиси известно еще меньше, чем в Сухуми. Из-

⁹ Об истории издания этого перевода см. в кн.: О. Мандельштам. Слово и культура, М., 1987, с. 299—300.

вестно, что велись переговоры с Бесо Ломинадзе об архивной работе, что была встреча с Егише Чаренцем, поразившим Мандельштама своим замечанием: «Осип Эмильевич, из Вас лезет книга».

Что же это за книга?

По всей очевидности, это стихи об Армении — цикл из 12 стихотворений и ряд примыкающих к ним стихов, написанных в октябре—ноябре 1930 года в Тбилиси. Этими стихами прервалось пятилетнее молчание Мандельштама-поэта, и как знаменательно, что произошло это благодаря Кавказу и непосредственно в Грузии!

...В 1938 году Мандельштам был арестован и отправлен под Владивосток. Туда же и тогда же попал тбилисский художник Василий Иванович Шухаев. Самого Мандельштама он там не встретил, только слышал о нем, но рассказывал (в частности К. А. Цыбулевской), что однажды его угостили самокруткой, свернутой из... автографа мандельштамовского стихотворения!..

* * *

Мы предлагаем вниманию читателя три мандельштамовских очерка, посвященных Батуми. Все они были опубликованы в русской периодике 20-ых годов. В очерке «Меньшевили в Грузии», впервые опубликованном в «Огоньке» (1923, № 20), описываются события августа—сентября 1919 года. Этот очерк перекликается и как бы дополняется, а отчасти даже совпадает текстуально, с очерком «Возвращение», мыслившимся первоначально как глава в «Шуме времени».

Два других очерка — оба под названием «Батум» — описывают Батуми конца 1921 года.

Все три очерка представляются нам своеобразными документами эпохи. Сегодня, в преддверии юбилея Великого Октября, они особенно интересны как непосредственные впечатления поэта, очень точно передающие дух того сложного времени.

Павел ПЕРЛЕР

МЕНЬШЕВИКИ В ГРУЗИИ

1

Оранжевая. Город-колибри. Город пальм в кадках. Город малярии и нежных японских холмов. Город, похожий на европейский квартал в какой угодно колониальной стране, звенящий москитами летом и в декабре предлагающий свежие дольки мандарина. Батум, август 20-го года. Лавки и конторы закрыты. Праздничная тишина. На беленьких колониальных домиках выкинуты красные флажки. В порту десятка два зевак затерты администрацией и полицейскими. На рейде покачивается гигант «Ллойд Триестино» из Константинополя. Дамы-патронессы с букетами красных роз и несколько представительных джентльменов садятся в моторный катер и отчаливают к трехпалубному дворцу.

Сегодня лавочникам и воскресным буржуа приспичило посмотреть на самого Каутского. И вот, катерок бежит обратно: и по деревянному мостику засеменили улыбающиеся вожди «настоящего европейского социализма». Цилиндры. Очаровательные модельные платья — и много, много влажных, дрожащих красных роз.

Каждого гостя бережно, как в ватную коробку, усаживают в автомобиль и провожают восклицаниями. Одного из делегатов неосведомленная береговая толпа принимает за Каутского — но выясняется ошибка, и глубокое разочарование: Каутский заболел; Каутский очень жалеет, шлет привет — приехать не может. Тут же передается другая версия: чересчур откровенный флирт грузинских правителей с Антантой оскорбил немецкие чувства Каутского. Все-таки Германия зализывала свежие раны... Зато приехал Вандервельде. Они уже стояли на балконе профсоюзного «Дворца труда». Вандервельде говорил. Я никогда не забуду этой речи. Это был настоящий образец официального, напыщенного и пустого, комического в своей основе, красноречия. Мне вспомнился Флобер, мадам Бовари и департаментский праздник земледелия,

классическое красноречие префектуры, запечатленное Флором в этих провинциальных речах с завыванием, театральными повышениями и понижениями голоса. Влюбленный в свою декламацию буржуа — а все, как один человек, чувствовали, что перед ними буржуа — говорил: я счастлив вступить на землю истинной социалистической республики. Меня трогают (широкий жест) эти флаги, эти закрытые магазины, небывалое зрелище по случаю приезда социалистической делегации.

— Вы цивилизовали этот уголок Азии (как характерно сказалось здесь поверхностное невежество французского буржуа и презрение к старой, вековой культуре). Вы превратили его в остров будущего. Взоры всего мира обращены на ваш единственный в мире социалистический опыт.

2

За неделю до приезда Вандервельде в Батум пришел другой пароход. Не из Константинополя, а из Феодосии — маленькая плоскодонная, небезопасная на Черном море азовская баржа с палубными пассажирами, бывшая в пути семь дней.

С этим пароходом присхали крымские беженцы. Родина Ифигении изнемогала под солдатской пятой. И мне пришлось глядеть на любимые, сухие, полынные холмы Феодосии, на киммерийское холмогорье из тюремного окна и гулять по выжженному дворику, где сбились в кучу перепуганные евреи, а крамольные офицеры искали вшей на гимнастерках, слушая дикий рев солдат, приветствующих у моря своего военачальника.

В эти дни Грузия была единственной отдушиной для Крыма, единственным путем в Россию. Визы в Грузию выдавались контрразведкой сравнительно легко. Связь меньшевистской и врангелевской контрразведки была прочно налажена. Людями бросались туда и обратно. Отпускали в Грузию для того, чтобы поглядеть куда и как он побежит — а потом сгребали — и обратно в ящик.

Семь дней волновался тугой синий холст волн. На карачках ползали за кипятком. Дагестанцы в бурках угощали зверобоем. Хорошо из тюрьмы перейти прямо на корабль, в раздвижную палатку пространства с влажным ковровым полом.

На сходнях встречает студент, облеченный полномочиями. Вспомнились распорядители кавказских балов в Дворян-

ском Собрании. — Ваш паспорт, — и ваш — и ваш; получите через три дня. Пустая формальность. — Почему не у всех? — Формальность. Дагестанцы в бурках глядят искоса.

В городе предупреждают: не ходите в советскую миссию — выследят и схватят. Не ходим. Поедем в Тифлис, все-таки столица. Город живет блаженной памятью об англичанах. Семилетние дети знают курс лиры. Все профессии и занятия давно стали побочными. Единственным достоянием человека считается торговля, точнее извлечение ценностей из горячего, калифорнийского, малярийного воздуха. Меншевистский Батум был плохой грузинский город.

Высокие аджарцы в бабьих платках, коренные жители, составляли низшую касту торговли мелочью на базарах. Густой, разноплеменный сброд смешался в дружную торговую нацию. Все—грузины, армяне, греки, персы, англичане, итальянцы — говорили по-русски. Дикая воляпука, черноморское русское эсперанто носились в воздухе.

3.

Через три дня после приезда я невольно познакомился с военным губернатором Батума. У нас произошел следующий разговор.

— Откуда вы приехали? — Из Крыма. — К нам нельзя приезжать. — Почему? — У нас хлеба мало. — Неожиданно поясняет: — У нас так хорошо, что если бы мы позволили, к нам бы все приехали.

Эта изумительно наивная, классическая фраза глубоко запечатлелась в моей памяти. Маленькое «независимое» государство(...) надеялось чистеньким и благополучным войти в историю, сжатое грозными силами, стать чем-то вроде новой Швейцарии, нейтральным и от рождения «невинным» клочком земли.

— Вам придется ехать обратно.

— Но я не хочу здесь оставаться, я еду в Москву.

— Все равно. У нас такой порядок. Каждый едет туда, откуда он приехал.

Аудиенция кончена. Во время разговора по комнате шныряли темные люди и, жадно и восторженно указывая на меня, в чем-то убеждали губернатора. В потоке непонятных слов все время выделялось одно: большевик.

Люди лежат на полу. Тесно, как в курятнике. Военнопленный австриец, матрос из Керчи, человек, который неосторож-

но зашел в русскую миссию, буржуа из Константинополя, юродивый молодой турок, скребущий пол зубной щеткой, белый офицер, бежавший из Ганджи. Офицера берет на поруки французская миссия. Турка выталкивают пинками на свободу. Остальных в Крым. Нас много. Ничем не кормят, как в восточной тюрьме. Кое у кого есть деньги. Стража благодушно бежит за хлебом и виноградом. Раскрывают дверь и впускают рослого румяного духанщика с подносом персидского чаю. Читаю нацарапанные надписи; одна запомнилась: «Мы бандитов не боимся пытки, ловко фабрикуем Жордания кредитки». Одного выпускают. Он по глупости опять заходит в советскую миссию, на другой день он возвращается обратно. Похоже на фарс, на какую-то оперетку. С шутками и прибаутками людей отправляют туда, где их убьют, потому что для крымской контрразведки грузинская высылка — высшая улика, верное тавро. Я вышел в город за хлебом, со спутником-конвойным. Его звали Чигуа. Я запомнил его имя потому, что этот человек меня спас. Он сказал: — У нас два часа времени, можно хлопотать, пойдем, куда хочешь. — И таинственно прибавил: — Я люблю большевиков. Может, ты большевик?

Я, оборванец каторжного вида, с разорванной штаниной, и часовой с винтовкой ходили по игрушечным улицам, мимо кофейен с оркестрами, мимо итальянских контор. Пахло крепким турецким кофе, тянуло вином из погребов. Мы заходили, наводя панику, в редакции, профсоюзы, стучались в мирные дома по фантастическим адресам. Нас неизменно гнали. Но Чигуа знал, куда меня ведет, какой-то человек в типографии всплеснул руками и позвонил по телефону. Он звонил к гражданскому генерал-губернатору. Приказ: немедленно явиться с конвойным. Старый социал-демократ смущен. Он извиняется. Военная власть действует независимо от гражданской. Мы ничего не можем поделать. Я свободен. Могу курить английский табак и ехать в Москву.

Перегон Батум—Тифлис. Мальчики и девочки продают в корзинках черный виноград — изабеллу — плотный и тяжелый, как гроздь самой ночи. В вагоне пьют коньяк. Разгоряченная атмосфера пикника и погони за счастьем. Вандервельде с товарищами уже в Тифлисе. Красные флажки на дворцах и автомобилях. Тифлис, как паяц, дергается на ниточке из Константинополя. Он превратился в отделение константинопольской биржи. Большие русские газеты полны добродушья и мягкой терпимости, пахнет «Русским Словом», двенадцатым

годом, как будто ничего не случилось, как будто не было не только революции, но даже мировой войны.

304935340
3032010000

БАТУМ

1

Весь Батум как на ладони. Не чувствуется концов-расстояний. Бегаешь по нему, как по комнате: к тому же и воздух всегда какой-то парной, комнатный. Механизм этого маленького, почти игрушечного городка, вознесенного условиями нашего времени на высоту русской спекулятивной Калифорнии, необычайно прост. Есть одна пружина — турецкая лира: курс лиры меняется, должно быть, ночью, когда все спят, потому что утром жители просыпаются с новым курсом лиры, и никто не знает, как это произошло. Лира пульсирует в крови всякого батумца, провозглашают же утренний курс — булочники.

Это очень спокойные, вежливые и приятные турки, продающие традиционный лаваш из очень чистой и пресной американской пшеницы. Утром хлеб десять, днем четырнадцать, вечером восемнадцать, а на другое утро почему-то двенадцать.

Занятий у жителей нет никаких. Естественным состоянием человека считается торговля. На фоне коренного населения резко выделяются советские работники отсутствием лир и соприкосновением с черным хлебом, которого ни один настоящий батумец в глаза не видит.

Спекулятивная иерархия Батума тоже очень ясна и проста. В центре системы стоит десяток крупных иностранных фирм, известных каждому ребенку и окруженных божественным почитанием — Валацци, Ллойд Триестина, Sago, SaLa, Витали, Камхи и пр.

Но божественное почитание не мешает жизнерадостным иностранцам, толстеньким, поджарым и кругленьким, наравне с прочими носиться по Греческой улице из конторы в контору, из магазина в магазин, колдуя над священной валютой.

Зимы нет. Продавцы мандаринов и чумазые мальчишки с баклавой* и бузинаками* на каждом шагу. Чуть нагретое, нежно-голубое море ласково полощется вокруг многоэтажного корпуса «Франца-Фердинанда» (только что из Константинопо-

* Имеются в виду восточные сладости — пахлава и гозинаки — П. Н.

ля) — многопалубной океанской гостиницы, где хрусталем дорожит дорожный *table d'hôte*.

Молодые константинопольские коммерсанты в ярких-желтых ботинках, перебирая янтарными четками, летают по набережной. Несмотря на свой лоск, они чем-то напоминают негров, переодетых в европейское платье, а еще больше экзотических исполнителей, некогда подвизавшихся на кафешантаных подмостках. Все двери лавок на набережной открыты.

Здесь в уютном полумраке важно беседуют жирные и апатичные персы, едва не раздавленные грузом собственных товаров — мануфактуры, сахара, мыла, обуви. Горе вам, если вы вздумаете зайти в одну из таких лавок и прицениться к чему-нибудь. По ошибке вам могут продать товару на миллиард — это все оптовое.

Господствующий язык в Батуме — русский, даже самые матерые иностранцы на третий день начинают говорить по-русски. Это тем более забавно, что русских в Батуме почти совсем нет, да пожалуй и грузин не много — город без национальности — в погоне за наживой люди потеряли ее.

Вот случай, показательный для глубокого отчуждения Батума от России, — в самом большом местном кинематографе идет итальянская фильма из русской жизни: «Ванда Варенина» (одно имечко чего стоит!). В этом изумительном сценарии русские женщины, как турчанки, ходят под черной фатой и снимают ее только в комнате, русские князья ходят в оперных костюмах из «Жизни за царя», катаются на тройках в английской упряжке, причем сани напоминают замысловатый корабль скандинавских викингов. Я был на этом представлении, — никто в переполненном зале не удивлялся и не смеялся — все, очевидно, находили, что это вполне естественно, и лишь когда итальянское кино показало русское венчание в церкви и молодых ввели в церковь в каких-то огромных коронах, немногочисленные красноармейцы не выдержали и зароптали.

Чрезвычайно характерна для Батума эмиграция из Крыма. Крым теперь захудал, обернуться там очень трудно, и вот каждый новый рейс «Пестеля» привозит в Батум партию «беженцев» из Феодосии, Ялты и Севастополя. Сначала они бродят по Греческой улице неуверенно, как общипанные цыплята, но проходит несколько дней, они оперяются и становятся полноправными гражданами вольного города.

У иностранца, который свое посещение Советской федерации ограничивает Батумом, должно получиться очень стран-

ное впечатление, зато для нас Батум вполне достаточен, чтобы судить о прелестях Константинополя.

В Батуме никто не жалуется на тяжелые времена, и только одна подробность напоминает о том, что есть люди без лир — это многочисленные плакатики, неизбежно украшающие каждую лавчонку, каждый маленький духанчик: «кредит никому», «кредит ни кому» и даже «кредит не кому» — по самой разнообразной орфографии. Но истинная торговля не обходится без кредита и на самом деле достаточно взять где-нибудь коробку папирос для того, чтобы на следующий день получить в кредит другую.

В одном портовом духане я наблюдал хозяев, которые всегда были настолько пьяны, что падают почти в бессознательном состоянии. Вряд ли у них сходятся концы с концами.

Это все чрево и служение лире, но у Батума есть и высшие потребности, кое-что для души. На Марининской улице кружок «ОДИ» — «Общество Деятелей Искусств». Здесь устраиваются смехотворные выставки макулатурных живописцев, скупаемые оптом заезжими греками, а местные эстеты и снобы расхаживают под раскрашенными олеографиями, воображая себя на настоящем вернисаже. Здесь же дамы обучаются пению, музыке и пластике под руководством опытных в этом деле специалистов. Есть в Батуме и поэты, изысканней которых трудно себе представить. Город постоянно подвергается налетам заезжих шарлатанов — «профессоров и лекторов». Один из них устроил публичный суд над Иудой Искарнотским с музыкой, причем самовольно объявил на афише об участии местного ревтрибунала, за что и был привлечен к суду. Ежедневно по субботам город оглашается звуками военной музыки из общественного собрания, это пир на всю ночь, очередной благотворительный вечер в пользу голодающих, с лото, американским аукционом и тому подобными прелестями. Здесь оставляются миллиарды.

Если вечер грузинский — ни на минуту не умолкает гипнотическая музыка сазандарей, путешествующих от столика к столику, пока кто-нибудь из пирующих не поднимется грозно и не пропляшет лезгинку под раздирающий сердце аккомпанемент тары.

Что же такое телерешний Батум: вольный торговый город, Калифорния — рай золотоискателей, грязный котел хищничества и обмана, сомнительное окно в Европу для Советской страны, очаровательный полувосточный средиземный порт с турецкими кофейнями, вежливыми купцами и русскими торгую-

щими матросами, которые топчут его хищную почву так же беззаботно, как они топтали почву Шанхая и Сан-Франциско? Будем помнить, что воздух современного Батума — солнечный, влажный и нездоровый — пропитан неуважением к будущей пролетарской России, к ее строительству, ее нравственному облику, ее страданию.

Да и коммерческая польза от Батума невелика и сильно раздута. Горы товаров, наваленные в батумских складах, если разобраться в них, — непристойная дешевка, предназначавшаяся раньше для колониальных стран и дикарей.

Наш лозунг должен быть таков: освободиться поскорее от гегемонии Батума, чтобы соленый морской ветер освежил наш трудовой дом через широкие окна здоровых гаваней Одессы, Новороссийска, Севастополя, Петербурга, где в добрый час уже выставлена первая рама.

БАТУМ

II

Дождь, дождь, дождь — это значит: нельзя выйти на улицу. Дождь может идти и завтра и послезавтра: зимний дождь в Батуме — это грандиозный теплый душ на несколько недель. Никто его не боится и, если нужно по делу, всякий батумец пойдет куда угодно даже в такой потоп, когда Ной побоится высунуться из ковчега. Вот спешит «центросоюзник» на службу в свой родной Центросоюз в охотничьих сапогах — последняя кооперативная выдача. Он смело переходит вброд самые опасные места и даже нарочно выбирает там, где поглубже.

Центросоюз внешне процветает, работа кипит с утра до ночи в маленьком чистеньком особняке у самого приморского бульвара с пихтами, олеандрами и пальмами, в том самом доме, где — по свежему преданию — англичане держали военный суд. С раннего утра неутомимые кооператоры в непромокаемых плащах и макинтошах снаряжают автомобили для осмотра чаквинских чайных плантаций и плодовых имений. С раннего утра в приемных толкуются иностранные купцы, ведомые, как агнцы на заклание, местными коммерсантами (всегда можно отличить того, кого ведут, и того, кто ведет), и не без легкого подобоострастия проникают в кабинет заведующего, где встречают острый и пронизательный суд библейского Соломона или кади из «Тысяча и одной ночи».

— Мы — «общественные купцы», — с гордостью говорят батумские кооператоры. — Нам ни тепло, ни холодно от Центросоюза», — твердит простой обыватель. Но обыватель требует синицу в руки, ему нужно сейчас же что-нибудь осязательное. Между тем, если бы не Центросоюз, тесно связанный с Внешторгом, не было бы никакого удерживающего, никакой управы на иностранных хищников, которые находят здесь отпор своей алчности и авторитет, перед которым они должны склониться.

Но дождь идет не вечно. Как по волшебству просыхают чистенькие улицы. Батумский потоп — это царство проточной воды. После дождя город только омылся, освежился. Начинается зимнее гулянье на бульваре. В январе люди сидят на теплом щебне пляжа, близко, у самых волн, только что не купаются. Тут-то начинается праздник для портовых турецких кофеен — это сердцевина всего города: его маленькие клубы и биржи. В кофейне темно и накурено. Ароматный тягучий кофейный пар стоит в воздухе. В глубине золотыми угольками тлеет неугасающе жаровня, и на ней в медных тигельках самим хозяином изготавливается божественный напиток. Слуга выбился из сил, перенося маленькие кофейные чашечки, сопровождаемые стаканом холодной воды.

Вот заходит газетчик. У него принашены газеты на всех языках. Каждому — свое.

Старый почтенный турок покупает турецкий «Коммунист» и медленно читает вслух другим. Что поймет он, купец и патриарх, в предлагаемом ему новом учении? Он морщит лоб, но не улыбается. Как и весь его народ, он хорошо воспитан и привык уважать чужое мнение.

Самое приятное в торговом Батуме — это именно торговые дома. В них есть благообразие и культура, которых нет в скороспелых итальянских и прочих европейских торговых фирмах, где царствует суэта и нехороший хищный дух. Есть один пункт, где торговля Востока не чета европейской — именно: торговля не только аппарат распределения, но социальное явление, и в привычках торгующего Востока чувствуешь уважение к человеку, которого нельзя просто обобрать и с кашей съесть.

Наступают сумерки, но Батум не хочет ложиться спать. По Марининской улице до поздней ночи движется сплошная праздничная лавина; чувствуется, что каждый в этой толпе «сделал дело» и теперь пожинает плоды своей коммерческой тонкости. Ярко освещены лари и подворотни с фруктами и южной

зимней утехой — мандаринами. Какие-то предприимчивые чумазые мальчишки, выплясывая лезгинку, бросаются под ноги прохожим, которые в ужасе откупаются мелкой подачкой. Толпа настолько оживлена, что ее радостный и громкий ропот долетает на четвертый этаж и баюкает ваш первый сон.

А в это время целые кварталы мертвы, как пустыня. Это специальные кварталы лавок у моря. Целые улицы, потухшие, во тьме, с наглухо закрытыми — железными тяжелыми висячими замками-ставнями. Бродят только сторожа с неусыпными трещотками, охраняя спящие миллиарды. Впрочем, сквозь железные ставни кое-где пробивается свет, и во многих лавках живут. Дело в том, что в Батуме нет квартир, нет даже «жилищного кризиса». Он устранен очень просто — комнат настолько бесповоротно нет, что никому даже не приходит в голову их искать. В Батуме, если вы приезжий, вас не спрашивают, где вы живете, а спрашивают, где вы ночуете. Страх перед бездомными приезжими настолько велик, что ни в одной чайной, ни в одной кофейной нельзя оставить вещи с вокзала: хозяева уверены, что вы к ним вернетесь ночевать, и боятся этого, как чумы. Мелкие торговцы ютятся в своих ларьках и будках, размерами не больше собачьей конуры. Каким образом устраиваются крупные приезжие коммерсанты — это совершенно таинственно. Очевидно, лира побеждает законы пространства.

По характеру своего интернационального торгового оживления Батум напоминает колониальный город или европейский квартал где-нибудь в Шанхае. До чего убогим кажется после него Новороссийск со своим прекрасным, гигантски оборудованным портом, со своими элеваторами, которые высоко поднимают на курьих ножках фантастически длинные, похожие на купальни, приемники для зерна. Все это спит и ждет пробуждения. Неприветливо встречает вас ледяной новороссийский норд-ост, но в городе чувствуется какая-то особая серьезность, и он как бы готовится к исполнению огромной предстоящей ему экономической задачи. Но пока что в пустых холодных лавках, где на прилавок демонстративно брошен кусок бязи, героические коммивояжеры, с какими-то воровскими по привычке ухватками, лихорадочно набивают чемоданы батумскими нитками и влекут куда-то подозрительную стопудовую ношу в опасный и темный путь, вечно стремясь к берегам своей Аркадии.

Важная теоретическая база

КНИГУ члена - корреспондента АН СССР Г. И. Ломидзе «Патриотизм и интернационализм советской многонациональной литературы», выпущенную в свет издательством «Мерани», никак нельзя причислить к разряду сборника статей. Это целостная работа, высвечивающая и осмысливающая отдельные важные грани такой глобальной проблемы.

Книгу характеризует целенаправленность концепции, аналитичность исследования, широта научного поиска, самобытность таланта автора — выразительность мысли, изысканность стиля, скрупулезность в передаче исторических документов разных периодов, прекрасное знание огромного фактологического материала.

Рецензируемая книга состоит из двух разделов. В первом из них Г. И. Ломидзе всесторонне рассматривает такие вопросы, как В. И. Ленин и проблемы развития национальных литератур, литература национального единства, интернациональное и национальное в творчестве советских писа-

телей, великая сила пролетарского интернационализма и др.

Второй раздел составили работы, посвященные вопросам интернационального и национального в советской культуре, истокам духовного единства советской многонациональной литературы и т. д.

Автор анализирует многие образцы русской, украинской и белорусской литератур, духовных культур народов Прибалтики, Закавказья, Средней Азии и Казахстана, Молдавии и целого ряда автономных республик и областей. Именно это и придает рассматриваемому труду подлинно энциклопедический характер.

Большое место в исследованиях Г. И. Ломидзе занимает грузинская духовная культура. Касаясь, в частности, споров о национальном стиле искусства, которые велись в 1926—1935 годах, автор справедливо рассматривает в качестве блистательного примера постановку пьесы С. Шаншиашвили «Анзор» (1928), осуществленную С. Ахметели, которая «сверкнула так ослепительно», ибо «национальное наполнилось социалистическим содержанием, социалистической устремленностью».

Свои многочисленные теоретические положения Г. И. Ломидзе доказывает на материале произведений Г. Табидзе, Т. Табидзе, Г. Леонидзе, С. Чиковани, К. Гамсахурдиа, Л. Киачели, К. Лордкипанидзе, Н. Думбадзе, И. Абашидзе, Г. Абашидзе, Г. Цицишвили, А. Каландадзе, А. Сулакаури, Д. Чарквиани, Ч. Амирэджиби, Ш. Нишнианидзе, Т. Чиладзе, Р. Инанишвили, Р. Джаридзе и др.

Он приходит к выводу, согласно которому «интерна-

ционализм не устраняет и не подменяет национальное, а основывается на нем... способствует цветению национального, дает выход лучшим сторонам национального сознания». Говоря о нерастержимости частного и общего, интернационального и национального, Г. И. Ломидзе подчеркивает, что «интернациональная общность советских народов — вернейшая гарантия их национальной самостоятельности. И поэтому сыновняя любовь к своей нации, к своей земле, к своему языку естественно и необходимо включает в себя любовь к общей социалистической родине, частью которой является родная земля».

Именно на этом прочном фундаменте строится вся книга Г. И. Ломидзе, в которой убедительно показано, что национальные литературы в нашей стране не могут развиваться без органического взаимодействия и благотворного взаимообогащения, что национальное существует не в виде каких-то национальных перегородок, ведущих к отчуждению. У каждого народа есть то, чем он вправе гордиться, в чем выразились его лучшие качества, которые в условиях социализма получают полный простор для своего развития. Взаимное сближение и взаимообогащение советских национальных культур — основа их богатства и многообразия, их интернациональной сплоченности.

Большое место занимают в рецензируемой книге проблемы художественного перевода, непримиримая критика буржуазных «советологов», которые «больше всего боятся

идейного единства социалистических национальных культур — им бы хотелось, чтобы эти культуры были отделены друг от друга непреодолимой крепостью, чтобы между ними царила не дружба и солидарность, а взаимная подозрительность, неприязнь, вражда. С этой целью они сочиняют ядовитые реакционные националистические теории «плюралистического социализма» и «национального коммунизма», призванные разжечь недоброе чувство взаимной отчужденности между народами стран социализма, расколоть их интернациональное единство». Г. И. Ломидзе в своей книге убедительно развенчивает всю тщету подобных поползновений.

В небольшой рецензии трудно осветить все аспекты книги Г. И. Ломидзе, которую характеризуют патриотизм и интернационализм, активная жизненная позиция, глубокое проникновение в эпоху изучаемых писателей, фундаментальное знание многонациональной советской литературы. Следует отметить и то, что Г. И. Ломидзе каждый вопрос преподносит читателю так, что в самой постановке проблемы присутствует философское обобщение. В силу всего этого данное исследование далеко выходит за рамки того или иного литературного региона, представляя собой важную теоретическую базу, без которой, на мой взгляд, не обойдется ни один исследователь многонациональной советской литературы, литературных взаимосвязей народов СССР.

Игорь БОГОМОЛОВ

Галина КОВАЛЕНКО

ДРЕВО ЖИЗНИ

(ЗАМЕТКИ О ТРЕТЬЕМ ВСЕСОЮЗНОМ ФЕСТИВАЛЕ
МОЛОДЕЖНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ)

Снова фестиваль проходил в Тбилиси. К нему готовились и его ждали. На двух предыдущих были открытия. В 1982 году ошеломил дерзкой новизной, пронзительной душевной обнаженностью спектакль Молодежного театра из Таллина «Мне тринадцать лет» М. Карусоо. В 1985 году был открыт для всесоюзного зрителя Якутский драматический театр им. П. Ойунского, показавший глубоко национальный философский спектакль «Желанный, голубой берег мой» по Ч. Айтматову. По представлению Театрального общества Грузии, он был удостоен Государственной премии СССР.

Нынешний фестиваль, проходивший в мае, ярким, беспощадным светом высветил многие наболевшие проблемы, выявил наметившиеся и намечающиеся тенденции общей театральной ситуации. В нем приняли участие молодежные театры, ТЮЗы, профессиональные и любительские студии. Маститые, академические театры не были представлены вообще. Исключением стал «Король Лир» руставелевцев, показанный вне рамок фестиваля.

Наибольшие споры вызвали спектакли К. Комиссарова. Хотя Молодежный театр из Таллина показал «Гамлета», а театр «Угала» из Вильянди «Путешествие из пункта А в пункт Б» Я. Пылдма, они явили своеобразную дилогию, объединенную общей темой. Кем является современная молодежь — пришельцами из иных миров, не желающими становиться на нашу почву, или же возросшими на этой почве, но без заботливого ее возделывания?

В Таллине «Гамлет» идет только летом во дворе Доминиканского монастыря. В Тбилиси спектакль игрался весной в древней крепости царицы Дареджан на фоне ночного, залитого электрическим светом города. Величественная крепость резко контрастировала с реалиями нашей жизни. На грубо сколоченном помосте-сцене красовалась вездесущая реклама, призывающая летать самолетами аэрофлота, пить кока-колу, носить спортивную одежду фирмы «Адидас». Это рождало возмущение как и появившаяся на крыше фигура, напоминающая космонавта. Знание сюжета подсказало, что это призрак отца Гамлета. Университетский друг Гамлета, философ Горацио предстал в облики панка. Он был отчаянно молод, но еще более был молод Гамлет. Едва они вступили в диалог, как захотелось их понять. Они сгибались под тяжестью сомнений, терзаясь поисками истины. Под этим бременем Гамлет раздваивался, и являлась его душа в облике юной девушки. Легко ли иметь душу? Синхронно Гамлет и его душа брали книги. Это были справочники с телефонами и адресами, но звонить и идти было не к кому. Гамлет был один. Его любила мать-королева, но она любила и его отчима, короля Клавдия, который всем заправлял, зеркально отражаясь в своем двойнике (Клавдия играют два актера). Ловко носился в надежде на щедрые чаевые Полоний, отец Офелии и Лаэрта. Он состоял лакеем при королевском дворе. Королева предстала жалкой секс-бомбой из дешевого кабаре. Над ее головой тускло блестело украшение, отдаленно напоминающее нимб великомученицы. Подавляли грубая сила, глупость, чванливость. Спектакль развивался по законам драмы новой волны. Неожиданно в него вторгалась мощная ренессансная струя, которую привнесли Актеры. Ломая все традиции, их играли женщины. Пышные рубенсовские формы, сочная манера произнесения текста вносили в спектакль истинно шекспировский дух. В него ворвалась шумная, орущая во всю глотку улица настолько естественно, что случайно вошедшие во время спектакля милиционеры с рациями, никого не удивили и ничему не помешали. Подвыпившие могильщики, которых играли исполнительницы ролей Актеров, копали могилу для бедной Офелии. И прежде, чем они наткнулись на череп бедного Йорика, из ямы вылетели остатки противогазов. Задела ли тихое кладбище когда-то война или противогазы позабыли нерадивые участники занятий гражданской обороны? Появлялась похоронная процессия. Убивалась королева. Мерцала неземным светом Офелия, аккурратно завернутая в целлофан, будто мебель перевозилась на по-

вую квартиру. Ее смерть знаменовала начало всеобщей гибели. Приход Фортинбраса в ярко-оранжевых одеждах не то хоккейного вратаря, не то инопланетянина не означал конца спектакля. Финал был «дописан»: восставшие из мертвых герои говорили друг другу единственно необходимые слова, которые не были сказаны прежде или же не были услышаны.

Трагедия Шекспира была сыграна за два часа. Из нее были безжалостно исторгнуты важнейшие сцены, в том числе и сцена мышеловки. Спектакль лишился философского объема. Но он долгое время не отпускает, заставляя думать о жизни, о детях, которые вышли из нежного возраста и из-под контроля. Их становится все труднее понимать. Они объясняются на слэнге, их манера одеваться раздражает, музыка же слишком громка. Но не прячут ли они за этим свое истинное «я»? И не пытаются ли они группами или в одиночку найти смысл жизни, продолжая те извечные поиски молодых, свойственные каждой эпохе, каждому поколению? В свое время удивлял Гамлет в джинсах и в хемингуэвском грубой вязки свитере. Потом поняли, что Владимир Высоцкий отразил искания целого поколения. В эстонском спектакле нет такой значительной личности, какой уже был молодой Высоцкий. Этот спектакль запечатлел групповой портрет молодежи. На Таганке рядом с Гамлетом безмолвно присутствовал мальчик-флейтист, лукавое, веселое дитя, как посредник с будущим. Не продолжает ли эту идею светлая девочка, душа Гамлета. Не переключка ли это поколений, услышанная К. Комиссаровым, правдивым и отважным художником? Спектакль с названием, словно взятым из учебника арифметики, «Путешествие из пункта А в пункт Б» продолжает эту тему. Его героев-подростков связывает взрослое чувство одиночества. Из семьи одного ушел отец, другой мальчик сбежал сам, у третьего отца вообще нет. На чистом прибалтийском дворе разгорается дискуссия о жизни. Она перемежается фрагментами детской телевизионной передачи, которую ведет моторно веселый, бездумный дядя Лео. Стоически выносят эту передачу подростки, не веря ни единому ее слову. Их связывает общий взгляд на жизнь. Они образуют дворовое братство, нечто вроде средневекового ордена, в которое войдет Христос. Подростки не занимаются богоискательством. Их бог явится к ним из рок-оперы Вебера «Иисус Христос — суперзвезда», порождение массовой культуры. Этот герой им ближе и понятнее, чем многие рассуждения умудренных опытом взрослых.

Нас обжег документальный фильм Ю. Подниекса «Легко

ли быть молодым?» Спектакль театра «Угала» поднимает многие из этих наболевших проблем.

Наши малые знания о молодых дополняет «Кукарача» Н. Думбадзе в грузинском ТЮЗе. Этот высоко поэтический спектакль о 30-х годах помогает увидеть наших юных сверстников, их тягу к духовному. Об этом говорит зрительская реакция. Театр целомудренно и страстно поведал о любви, случившейся в Тбилиси почти полвека назад. Под звуки шарманки странствующие актеры повествуют об Отелло, Дездемоне и Яго, иными словами, о милиционере с веселым прозвищем Кукарача, красавице Инге и бандите Муртало. В действие вовлечен шумный, разноголосый тбилисский двор, в котором превыше всего ценятся благородство и справедливость. Как же угадал душу подростка постановщик Ш. Гацерелия, утолив его жажду романтического героя. В спектакле много юмора. На нем построена вся бытовая сторона сюжета. Спектакль пронизан любовью к Грузии. Эта любовь наполняет сердца тех, кто родился и живет в Грузии, и тех, кто ее начинает узнавать. «Кукарача» органично вписывается в общую панораму грузинского театра, воспитывая для него настоящего зрителя.

В ином ключе решен спектакль Латвийского ТЮЗа «Страх и отчаяние Третьей империи» Б. Брехта в постановке А. Шапиро. Сделанный со страстью, жесткий, блестящий по форме, спектакль отвечает сложнейшим требованиям эпического театра Брехта. Его начало буднично. На сцену выходят очень молодые люди. Они садятся на велосипеды и стремительно мчатся под знакомые веселые и сентиментальные мелодии 30-х годов. Первоначальный образ спектакля — сверкающая юность, перед которой открыты все дороги. Постепенно он трансформируется. Из жизнерадостной массы выделяются жертвы и палачи, соглашатели и борцы. Фашизм вторгается во все сферы жизни страны. Дробность сменяющихся сцен страха и отчаяния не нарушает целостности замысла. Замечательно исполненные зонги организуют и соединяют сцены в жуткое целое, являя трагедию народа. Сценография А. Фрейбергса обнажает глубинную мысль спектакля: молодые люди мчатся на велосипедах, но это чудовищный бег на месте. Нерв спектакля — в динамике мысли, ведущей к прямым ассоциациям с сегодняшним днем.

Среди профессиональных театров не затерялся спектакль Ленинградского университета им. Жданова «Зверь» Г. Синякевича и М. Гиндина. Он привлёк высоким интеллектуальным потенциалом режиссуры В. Голикова. Появившиеся на свет

после атомной катастрофы люди пытаются по-человечески строить жизнь. Отец и мать ищут на обезлюдевшей планете мужа для Дочери. После долгих поисков они встречают живое существо, которое принимают за Зверя. Он оказывается умнее, тоньше, благороднее этих добрых людей. Всей душой к нему потянулась Дочь. Зверь настойчиво ищет связь с прошлым через оставшиеся книги. Но в своем наивном самодовольстве эти безволосые люди не хотят увидеть в Звере с его длинными волосами и бородой себе подобного. Они находят для Дочери тупого и злого продолжателя рода. Зверь же стараниями этого малого большинства низводится до состояния животного. Привязанный, он лишается дара речи. Недавно еще мыслящее существо, он с жадностью пожирает книги. Духовная пища превращена в корм. Трагичен и емок символ. К сожалению, в спектакле два финала. В фойе зрители должны перешагивать через живописно расположенные мертвые тела, хотя понятно, к чему может привести человечество отказ от духовности. И все же, несмотря на столь досадную прямолинейность, спектакль запоминается.

Московский театр-студия «Человек» показал «Эмигрантов» С. Мрожека. Пожалуй, это единственный фестивальный спектакль, заставивший вспомнить формулу: режиссер умирает в актерах. Постановщик М. Мокеев свершил этот мужественный на сегодня акт. Молодые мхатовцы Р. Козак и А. Феклисов сумели донести причудливый, фантастический гротеск абсурдистской пьесы С. Мрожека о свободе выбора, трактованной как история внутренней эмиграции, полная бесплодной борьбы двух людей, оказавшихся в чужой стране. Оторвавшиеся от корней — родины, семьи, друзей — эти полые души внушают себе, что они свободны, являясь на самом деле жалкими рабами обстоятельств и друг друга. Их цель миражна, существование бессмысленно. Ими правит страх. Свободно существуя в эстетике театра абсурда, Р. Козак и А. Феклисов проявляют высокий профессионализм в направлении, более известном нам теоретически, чем на практике.

Спектакль «Праздничный день» О. Михайловой объединения «Дебют» московского театра имени Ленинского комсомола повествует о тяге к прекрасному и невозможности его обретения. Действие разворачивается в двух планах — бытовом, мгновенно узнаваемом, и надбытовом, выраженном танцевально-пантомимически. «Праздничный ряд» символизирует высшее проявление духа героев, невозможное для них в повседневной жизни. Героиня сознательно повторяет судьбу Кармен. Она стре-

мится к выдуманным страстям, которые в ее сознании, воспитанном массовой культурой, трансформируются в романтические взлеты, ничего общего не имеющие с Кармен из шедевра Мериме. Московская Кармен из парикмахерской переживает взлет единойжды — в свой смертный час.

Горькой насмешкой оборачивается название пьесы, события которой происходят Восьмого марта. Абсурдность показанной жизни очевидна. Броскость и яркость формы спектакля подчеркивает контраст между существованием героев и их выдуманной мечтой. Постановщику пьесы М. Мирзоеву присуще образное мышление, выпукло выявляющее сверхзадачу спектакля — исследование немногочисленной, но существенной категории молодежи. Его проблематика смыкается с проблематикой постановок К. Комиссарова, хотя герои «Праздничного дня» старше, и в отличие от героев спектакля эстонцев их судьбы наводят на пессимистические мысли. Пассивные, духовно незрелые, они мечутся в поисках истинного, не зная, как и где его найти. «Дебют» первым вывел на сцену подобных персонажей, заставил углубиться в их жизнь, высказал озабоченность их несостоявшимися судьбами.

По-своему размышляют о современной молодежи в спектакле Камчатского областного театра «Предместье» по пьесе А. Вампилова. В режиссуре Ю. Погребничко явственно проступает стремление не только по-новому раскрыть мир молодых, но показать их связь с другими поколениями. Такой режиссерский замысел не может не вызвать интереса. Однако его воплощение привело к перегрузке спектакля аллегориями и шарадами, которые зритель должен неустанно расшифровывать. Студент Бусыгин ходит в шинели. Хотя он молодецки разыграл Сарафанова, выдав себя за его несуществующего сына, все же Бусыгин — духовный сын Сарафанова, прошедшего войну и сохранившего идеалы своей молодости. Не должны удивлять гусарский мундир и седло, к которым время от времени прикасаются персонажи. Проникновенно звучит песня о гусарской доблести в исполнении Окуджавы. Все вкуче знаменует — через многие десятилетия поколения протягивают друг другу руку. Такая назидательная символика чужда философско-поэтическому строю пьесы Вампилова. Ее героям трудно существовать в прокрустовом ложе подлого замысла. Насильственно изъяты из поэтического мира пьесы, они предстают в спектакле упрощенно, одномерно.

Нечто подобное наблюдается в работе студии пластической импровизации Московского театра им. Пушкина «Каникулы

Пизанской башни». Традиционные маски итальянского карнавала попадают в современную шумную и кипучую жизнь. Нельзя отказать в очаровательном остроумии самому сюжету: обязательный объект туристского обозрения, Пизанская башня, устала и отправилась отдыхать. Но сменяющие друг друга пантомимические сцены, многие из которых отличаются выдумкой, исполнены подлинной эксцентрики, все же трудно назвать спектаклем. Он затянут, иногда прорывается досадное дурновкусие, откровенное заигрывание со зрителем. Актерам не хватает внутренней сосредоточенности, и представление более создает и организует музыка, нежели действие, подчас лишенное цели.

Не претендуя на целостный спектакль, выпускной курс Грузинского государственного театрального института им. Шота Руставели показал «Час пантомимы». Сочные бытовые сцены соседствовали с сюжетами, полными поэтичности и грусти. Горький юмор, вызывающий улыбку, сменялся гомерическим смехом публики. «Час пантомимы» обладает внутренней драматургией, построенной на знании народной жизни, ее обычаев. Спектакль, поставленный педагогом курса заслуженным артистом Грузинской ССР Амираном Шаликашвили показал, как верна грузинская театральная школа своим традициям. Это тем более дорого, что богатейшее наследие драматического искусства нашло продолжение и развитие в жанре театра пантомимы.

Грузинская школа ярко проявилась в спектакле Молодежного театра-студии «Метехи» «Заброшенный дом» Э. Ниношвили. Крестьянская драма из грузинской жизни XIX века представлена с той силой страсти, которая заставила вспомнить «Горькую судьбину» А. Писемского, «Власть тьмы» Л. Толстого. Художник М. Чавчавадзе отказался от этнографически воссоздаваемого быта, который эффектно бы вписался в древние стены Метехи. Скупыми средствами «бедного театра» он лишь наметил место и время действия, усложнив задачи постановщика спектакля С. Мревлишвили, имеющего дело с молодыми актерами. Но режиссер сумел пробудить в них чувство внутренней правды, уберечь от натурализма. Социальное тесно переплелось с частным, личным. Традиции национального театра органично соединились с учением Станиславского, явив подлинную, трепетную жизнь человеческого духа. И торжественно звучащий в Метехском храме «Реквием» Верди придал деревенской трагедии вселенский масштаб.

Контрапунктом к работе Молодежного театра прозвучал спектакль «Мачеха Саманишвили». Его играют на малой сце-

не театра им. Руставели выпускники института, влившиеся в труппу прославленного коллектива. Повесть Д. Клдиашвили решена постановщиком и педагогом курса Г. Жордания в жанре трагикомедии. Вольная комическая стихия с ее фарсово-девильным началом молодым актерам дается легче, что естественно. По молодости лет эта сторона жизни и искусства им пока ближе. Подлинного перехода в трагедию не произошло. Но спектакль дорог тщательным воссозданием народной жизни, интересно сыгранными характерами, особенно возрастными, чистой отношения к искусству. Участников спектакля знали в лицо. Они запомнились в дипломной работе «Дневник Анны Франк», а исполнителя роли Платона — М. Нинидзе уже видели в фильмах «Покаяние» и «Ступень». «Мачеха Саманишвили» значится в афише театра им. Руставели. В этом порука творческого роста и совершенства спектакля.

Туркменский ТЮЗ показал «Ящерицу» А. Володина, сыгранную недавними выпускниками Театрального института. Многому научили их грузинские мастера, и что особенно важно — пониманию и бережному отношению к традициям народного искусства. Спектакль не лишен недостатков, но он покоряет своим национальным своеобразием. В начале пути театр начинает обретать свое лицо.

Особая страница фестиваля—классика. «Электра» Софокла, «Гамлет» Шекспира, «Каин» Байрона. Классика советской литературы «Пощечина» О. Олеси, «Золотой теленок» по И. Ильфу и Е. Петрову. Среди этих разных по художественному уровню спектаклей выделился «Дядя Бяня» в Литовском Молодежном театре в постановке признанного мастера режиссуры Э. Некрошиуса. Главенствующая тема спектакля—исцеление от недуга—возникает в своеобразной увертюре. В тиши ночи Астров ставит старой няньке Марине банки. Простое это лечение неоднократно вторгается в действие, обретая значение символа. Под прозой неторопливо протекающей усадебной жизни пульсируют внутренние процессы, взрывая однообразное течение деревенских будней. Это особенно ощущается в одной из ключевых сцен спектакля: ночью Соня собирает на скорую руку закуску для Астрова. Светящаяся надеждой, словно храм, убирает она этажерку, стеля чистейшие салфетки, зажигая непочатые свечи. Девственная белизна салфеток, высокие, будто венчалные, свечи подчеркивают неповторимость, единственность этого мига, чтобы еще более ощутить всю несбыточность надежд. Никогда не будут расплетены дивные, допят косы Сони. Голый, зализывая душевные раны, спасаясь

под медвежьей шкурой, уползет в свои леса Астров. Не суждено познать любовь Елене, женщине с прозрачными русалочьи-ми глазами, напоминающими воды Немана. Общность судеб на мгновение заставит ощутить сестринскую любовь друг к другу Соню и Елену. Словно феи, закружатся они в легком неземном танце, вобравшем в себя их горести и печали.

И над несвершениями, несчастливой, но полной борений духа жизнью героев будут нагло ухмыляться слуги, перемещенные из другой пьесы Чехова. Двойники лакея Яши из «Вишневого сада» цинично вытесняют отовсюду этих людей. Откровением звучит хор рабов из оперы Верди «Навуходоносор». Растворяясь в дивной мелодии, вкладывая в пение свои страдания и надежды, молясь о себе и других, герои утверждают торжество свободного духа над рабством.

«Король Лир» в театре им. Руставели, показанный вне рамок фестиваля, стал его венцом. В отточенной режиссуре Р. Стуруа потрясает космический образ мирского страдания, вызванного предчувствиями всеобщего конца. Судьбы Лиры Глостера в блистательном исполнении Р. Чхиквадзе и А. Махарадзе вобрали хаотическую хронику жестокого века. Трагической идее подчинена сценография М. Швелидзе. Возведенный на сцене театр-храм эпохи Ренессанса, в ярусах которого затерялся единственный зритель, естественно продолжает интерьер зрительного зала. С великолепием построенного на века сооружения резко контрастирует бедное создание театральной техники нашего времени — передвигающийся на фурах кузов. Но ничто не уцелеет в финале. В симфонических фресках Г. Канчели, полных трагизма, напоминанием о былой гармонии прозвучит цитата из Доницетти.

Характерный для всего спектакля синтез истории и современности, выразившийся в органическом единстве традиций с новизной мышления, заставляет суммировать и переосмысливать прошлое во имя постижения настоящего.

Такой принцип характерен для грузинского театра. И именно потому на его мощном стволе вырастают новые ветви. Среди них не теряются и набирают силы молодые побеги, питаются соками этого могучего дерева.

Сдано в набор 27.07.87. Подписано к печати 15.09.87 г. Формат 84×108¹/₃₂. УЭ 11087. Высская печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 5 000. Заказ 1850. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Резо АМАШУКЕЛИ (заместитель главного редактора),
Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз
АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ,
Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА,
Алексей ГОГУА, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТ-
КИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь),
Михаил ЛОХВИЦКИЙ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,
Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Серги ЧИЛАЯ.

ТЕЛЕФОНЫ:

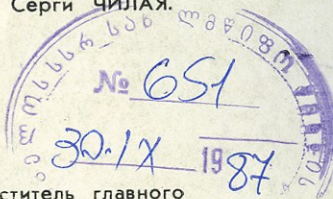
Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного
редактора — 93-13-57, ответственный секретарь —
93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и
93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию»
обязательна.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

КОНТРОЛЬНЫЕ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ



65 კ.

ИНДЕКС 75117

26-87

87-65

ეროვნული
ბიბლიოთეკა

